



**РЮНОСКЭ**

**АКУТАГАВА**

**МАДОННА  
В ЧЕРНОМ**

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

**Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А**

Эксклюзивная классика (АСТ)

Рюноскэ Акутагава  
**Мадонна в черном**

«Издательство АСТ»

УДК 821.521-82  
ББК 84(5Япо)я44

**Акутагава Р.**

Мадонна в черном / Р. Акутагава — «Издательство АСТ»,  
— (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-153622-0

В серии «Эксклюзивная классика» вышло 3 сборника Акутагавы: «Ворота Расёмон», «В стране водяных» и «Беседа с богом странствий». Но его творчество настолько обширно и многогранно, что в них представлена лишь малая часть его рассказов. В новый сборник вошли не только такие известные новеллы, как «Мадонна в черном», «Смерть христианина», «Показания Огаты Рёсая», «Преступление Санэмона» и «Свидетельство девицы Ито», но и несколько десятков других жемчужин прозы великого японского мастера.

УДК 821.521-82  
ББК 84(5Япо)я44

ISBN 978-5-17-153622-0

© Акутагава Р.  
© Издательство АСТ

## Содержание

Вечный Жид	6
Показания Огаты Рёсая	11
Смерть христианина	14
Убийство в век просвещения	20
Житие святого Кирисутохоро[8]	26
О себе в те годы	35
Просвещённый супруг	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# **Рюноскэ Акутагава**

## **Мадонна в черном**

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с японского

Серийное оформление А. Фереца, Е. Фerez

Компьютерный дизайн В. Воронина

В оформлении обложки использована картина Коицу Цутии «Плавучий павильон Катада в снегу».

© Школа перевода В. Баканова, 2022

© Перевод. В. Гривнин, наследники, 2022

© Перевод. Т. Соколова-Делюсина, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2023

\* \* \*

## Вечный Жид

Во всех христианских странах существует легенда о Вечном Жиде. Италия, Франция, Англия, Германия, Испания – нет, пожалуй, ни одной страны, до которой не дошло бы это предание. И, разумеется, тема Вечного Жида с давних пор является одной из самых распространённых в искусстве. Достаточно назвать гравюры Гюстава Доре, романы Эжена Сю и доктора Кроули. Помнится мне, что и в знаменитом романе «Монах» Льюиса рядом с Люцифером и истекающей кровью монахиней действует Вечный Жид. А совсем недавно рассказ на эту тему написал Уильям Шарп, именующий себя Феоней Маклеод (названия его я, к сожалению, не запомнил).

Так кто же он такой, этот Вечный Жид? Обычно так называют еврея, который, навлекши на себя проклятие Иисуса Христа, обречён вечно скитаться по миру в ожидании Судного дня. В разных легендах он выступает под разными именами. То его называют Картафил, то Агасфер, то Бутадеус, то Исаак Лакедем. Да и о роде его занятий нет единого мнения. Одни утверждают, что он был сторожем претории в Иерусалиме, другие считают его слугою Пилата. Некоторые называют его сапожником. Обстоятельства же, связанные с самим проклятием, во всех версиях описываются примерно одинаково. Когда ведомый на Голгофу Христос, желая перевести дух, остановился на миг у дверей дома этого человека, тот не только осыпал его жестокой бранью, но ещё и ударил. Проклятие же звучало следующим образом: «Ты гонишь Меня, и Я уйду, но зато ты дождёшься Моего возвращения». Позже этот человек, подобно Павлу, принял крещение от Анании и стал называться Иосифом. Но тяготеющее над ним проклятие может быть снято только в день Второго пришествия. К примеру, 22 июня 1721 года его видели на улицах Мюнхена, о чём упоминает в своих «Записных книжках» Хормайер.

Впрочем, это событие сравнительно недавнего времени, упоминания о Вечном Жиде можно обнаружить и в более древних книгах. Одной из самых ранних, очевидно, является летопись монастыря Святого Албана, составленная Матвеем Парижским. В этой летописи есть запись о посещении монастыря архиепископом Великой Армении, и приводятся слова некоего рыцаря, его переводчика, о том, что в Армении архиепископу якобы не раз приходилось сживать за одним столом с Вечным Жидом. Аналогичное свидетельство обнаружено в стихотворном варианте летописи, написанном в 1242-м историком из Фландрии Филиппом Муском. Из этого можно сделать вывод, что до XIII века Вечный Жид не появлялся в Европе, а если и появлялся, то его появление осталось незамеченным. Зато уже в 1505 году он помог богемскому ткачу по имени Кокото найти клад, зарытый 60 лет назад его дедом. Есть и другие свидетельства. В 1547 году Пауль фон Айцен, настоятель монастыря в Шлезвиге, видел его молящимся в одном из гамбургских соборов. Упоминания о том, что его видели то на севере, то на юге Европы, продолжают появляться вплоть до начала XVIII века. Даже если ориентироваться только на самые достоверные, получится, что в 1575 году его видели в Мадриде, в 1599-м – в Вене, а в 1601-м сразу в трёх местах – Любеке, Ревеле и Кракове. Если верить Рудольфу Ботлеусу, то в 1604 году он появлялся ещё и в Париже. Потом через Наумбург и Брюссель, очевидно, добрался до Лейпцига, а в 1658 году передал секрет приготовления целебного средства (два листка шалфея и один листок щавеля смешать с пивом и выпить) некоему Самюэлю Уоллису, который страдал лёгочной болезнью. Затем, побывав, как вы уже знаете, в Мюнхене, он ещё раз посетил Англию, где встречался с профессорами Кембриджа и Оксфорда, после чего его видели в Дании и Швеции, затем его след теряется, и все попытки проследить его далее оказываются тщетными.

Смею надеяться, что всё вышесказанное позволит читателю хотя бы в общих чертах уяснить, кого называют Вечным Жидом и какова его история в древние времена. Но изложение всех этих фактов ни в коем случае не является моей целью. Мне хотелось бы рассказать вам

о двух давно мучивших меня вопросах, которые возникали у меня всякий раз, когда я думал об этой легендарной личности, и на которые я совсем недавно нашёл ответ в старинном манускрипте, совершенно случайно мною же самим и обнаруженном. Одновременно речь пойдёт и о самом манускрипте. Итак, начну с вопросов, которые так долго не давали мне покоя.

Первый из них – чисто фактологического порядка. Известно что Вечный Жид появлялся почти во всех странах христианского мира. А если так, то неужели же он не бывал в Японии? Я не хочу касаться здесь современной Японии, но ведь уже во второй половине XIV века в юго-западной части страны получило широкое распространение христианское учение. Если мы обратимся к «Восточной Библиотеке» д'Эрбло, то узнаем, что, когда в начале XVI века введомая Фадэйрой арабская конница захватила Елвен, Вечного Жида видели среди арабских воинов; говорят, что вместе с Фадэйрой он славил Аллаха: «Аллах Акбар» («Аллах велик»). Так что скорее всего к тому времени он успел побывать на Востоке. И трудно себе представить, чтобы он не наведёлся в Японию, где даймё – аристократы эпохи феодализма, – повесив на шею золотые распятия, твердили «Отче наш», а их жёны, перебирая пальцами коралловые чётки, преклоняли колена перед Девой Марией. Короче говоря, неужели легенда о Вечном Жиде уже тогда не проникла в Японию, точно так же, как проникли столовое стекло и ребек? Вот первый из мучивших меня вопросов.

Второй вопрос совершенно иного свойства. Вечный Жид был осуждён вечно скитаться по миру за то, что повёл себя непочтительно по отношению к Иисусу Христу. Но ведь когда Христа распинали, то над ним издевался не один этот еврей. Кто-то надел ему на голову терновый венец, кто-то набросил на плечи багряницу, кто-то прибил на верхнюю часть его креста табличку с надписью «I. N. R. I». А уж тех, кто бросал в него камнями, кто плевал в него, и вовсе сосчитать невозможно. Так почему же именно тот еврей навлёк на себя проклятие Христа? Или хотя бы какие толкования даются по этому поводу? Вот второй вопрос, который долго мучил меня.

В течение нескольких лет я тщетно рыскал по старинным манускриптам, как восточным, так и западным, не находя никакой зацепки. А надо сказать, что число литературных произведений, так или иначе затрагивающих тему Вечного Жида, чрезвычайно велико. Прочесть все совершенно невозможно, особенно если не выезжать из Японии. И я постепенно примирился с мыслью, что мне никогда не удастся найти ответы на мои вопросы. Но вот что произошло осенью прошлого года, когда я уже был близок к отчаянию. Решив, что это будет моей последней попыткой, я объехал провинции Хиго и Хидзен, побывал на островах Хирато и Амакуса, долго копался в бесчисленных старинных рукописях, и вдруг наткнулся на манускрипт эпохи Бунроку<sup>1</sup>, в котором и нашёл наконец упоминание о Вечном Жиде. Что касается самого манускрипта, то мне не хотелось бы сейчас тратить время на описание его достоинств и недостатков. Достаточно будет сказать, что это весьма незатейливые записки, наспех сделанные кем-то со слов одного из тогдашних христиан.

Согласно этим запискам, Вечный Жид неожиданно встретился Франциску Ксавье на корабле, следовавшем из Хирато на Кюсю. Франциску Ксавье в том путешествии «сопутствовал проповедник Симеон», и именно благодаря этому Симеону слух о том, что произошло на борту корабля, дошёл сначала до местных христиан, а потом, распространившись по всей стране, в конце концов, спустя несколько десятилетий, достиг, очевидно, и автора вышеупомянутых записок. Если верить его словам, история о том, как святой Франциск встретился с Вечным Жидом, была в то время очень популярна в среде японских христиан и довольно часто становилась темой проповедей. Я хочу познакомить читателей с примерным содержанием этих записок и, приведя несколько цитат из оригинала, разделить с ними радость, которую испытал, найдя наконец ответ на долго мучившие меня вопросы.

<sup>1</sup> Эпоха Бунроку – 1592–1596 гг.

Прежде всего в записках говорится о том, что корабль, на борту которого произошла знаменитая встреча, был гружён «всевозможными плодами и разными местными диковинами». Из этого следует, что дело происходило скорее всего осенью.

Это подтверждается и последующим перечислением плодов – фиги и прочее. Других попутчиков, похоже, не было. Время действия – полдень. Ограничившись всего несколькими вводными фразами, автор сразу же переходит к сути, поэтому, если читателя интересуют подробности, ему остаётся лишь, призвав на помощь собственное воображение, представить морскую гладь, как рыба чешуя переливающаяся в лучах ослепительно сияющего солнца, горы фиг и гранатов и троих «рыжеволосых», которые, сидя посреди всего этого великолепия, увлечённо беседуют, потому что изобразить всё это ярко и обстоятельно не по силам простому учёному, каковым являюсь я.

Вместе с тем, полагая, что читателю не захочется слишком утруждать себя, я подумал, что будет лучше, если я всё же приду на помощь его воображению и познакомлю хотя бы с описанием внешности Вечного Жида, обнаруженным мной в сочинении Пэка «История Стэнфорда». Вот что пишет Пэк: «На нём лиловая куртка с пуговицами до пояса. Штаны того же цвета, довольно новые. На ногах белоснежные чулки, то ли полотняные, то ли вязанные из шерсти, не разглядел. И борода, и волосы седые. В руке белый посох». Всё это Пэк записал со слов Самюэля Уоллиса, того человека, страдавшего лёгочной болезнью, о котором я уже рассказывал. Естественно предположить, что, когда Вечного Жида встретил Франциск Ксавье, он выглядел примерно так же.

Но как догадались, что это был именно Вечный Жид? В записках говорится, что, когда «святой отец стал творить молитву, этот малый тоже начал ревностно молиться», так что, очевидно, святой Франциск первый заговорил с ним. Заговорив же, сразу понял, что перед ним не обычный человек. И по тому, что он говорил, и по самой манере вести беседу незнакомец вовсе не был похож на какого-нибудь авантюриста или путешественника, которых в те времена судьба нередко забрасывала на Восток. К тому же он с такой «живостью необычайной, будто видел всё собственными глазами, описывал как недавние, так и давно минувшие события, имевшие место в Индийской земле и в странах южных варваров», что «не токмо Симеон, но даже и сам святой отец, в изумление чрезвычайное пришедши, лишились дара речи». «Откуда ты, незнакомец?» – спросил святой отец, и тот отвечал: «Иудей, не имеющий постоянного пристанища в мире». Полагаю, что даже святой Франциск поначалу усомнился и не поверил этому человеку. Во всяком случае он потребовал: «Поклянись обителью блаженных Парайсо, что говоришь правду!» – на что незнакомец якобы ответил: «Клянусь!» «И тогда святой отец, не обвиняя более, вступил с ним в беседу, и долго весьма говорили они о том и о сём». Далее выясняется, что говорили они, во всяком случае в начале разговора, о делах, давно ушедших в прошлое, религиозных же вопросов не затрагивали вовсе.

Сначала речь шла о святой Урсуле, о том, как она, а вместе с ней 11 000 девственниц, приняли мученическую смерть, потом о чистилище святого Патрика, после чего, обсудив деяния святых апостолов, собеседники заговорили о том, как Господь Иисус Христос был распят на Голгофе. Причём, прежде чем перейти к этой теме, святой Франциск попросил у матроса несколько фиг, которыми был гружён корабль, и угостил ими Вечного Жида. Я упоминаю об этом, в общем-то совершенно незначительном, факте, только потому, что писал об этих фигах прежде. Вернёмся же к беседе.

Святой Франциск:

– Были ли вы в Иерусалиме, когда Господь принимал смертные муки?

Вечный Жид:

– Разумеется, я видел их собственными глазами. В те времена меня звали Иосиф, я был сапожником и жил в Иерусалиме. Как только правитель наш Пилат предал Господа на распятие, я, собрав домашних своих, постыдно насмеялся над Господом и страданиями Его.



В записках рассказывается о том, как Иисус Христос, охраняемый фарисеями и первосвященниками, шёл нетвёрдой походкой «сквозь беснующуюся толпу» следом за крестьянином, несущим на спине Его крест. Багряница покрывала Его плечи. Голова была увенчана терновым венцом. На руках и ногах, словно розы, алели раны и рубцы от ударов кнутом. И только глаза Его ничуть не изменились. В глубине этих глаз, «ясных, голубых, совершенно таких же, как в прежние дни», застыло какое-то странное выражение по ту сторону печали и радости. И глаза эти произвели необыкновенное впечатление даже на такого человека, как Иосиф, который не верил в учение «сына плотника из Назарета». Вот что сам он говорит по этому поводу: «Каждый раз, как взглядывал я в глаза Господу, сердце моё невольно сжималось. Не потому ли, что Его глаза напоминали мне глаза моего умершего брата?»

Тем временем Иисус Христос, весь покрытый пылью и потом, очевидно желая перевести дух, остановился у порога его дома, мимо которого как раз проходил. Рядом скорее всего толпились препоясанные кожаными поясами фарисеи с непомерно длинными ногтями, благоухающие нардовым маслом блудницы с волосами, напудренными голубой пудрой. Возможно, слева и справа блестели в лучах жгучего солнца щиты римских легионеров. Впрочем, в записках сказано просто: «собралось множество людей». Иосиф же, заметив остановившегося у его дома Иисуса, «вознамерился показать собравшимся, сколь велика его преданность первосвященникам». Держа в одной руке собственного сына, другою он схватил за плечо «Сына человеческого» и грубо толкнул Его. «На кресте и отдохнёшь вдоволь, ждать уж недолго» – так сказал он, издеваясь, потом, осыпав Иисуса бранью, поднял руку и ударил Его по лицу.

И тогда Иисус тихо поднял голову и строго посмотрел на Иосифа. Взгляд Его глаз, которые показались Иосифу такими похожими на глаза покойного брата, был испытующе суров. «Ты гонишь Меня, и Я уйду, но зато ты дождёшься Моего возвращения». Эти слова, более резкие, чем знойный ветер пустынь, мгновенно опалили душу Иосифа. Действительно ли Иисус произнёс их, этого не понял даже сам Иосиф. Однако «проклятие столь явственно прозвучало в его душе, что он содрогнулся». Поднятая рука сама собой опустилась, ненависть, туманившая голову и сердце, исчезла, и он, всё ещё держа на руках ребёнка, неожиданно для самого себя опустился на дорогу и попытался поцеловать искалеченную, с вырванными ногтями ногу. Но поздно – Иисус, подгоняемый легионерами, уже удалился. Иосиф растерянным взглядом проводил мелькавшую в толпе багряницу. И в тот же миг глубокое раскаяние пронзило его душу. Но рядом не было никого, кто мог бы его понять. Даже его собственные жена и дети истолковали его порыв как очередную насмешку над Христом, как если бы он возложил Ему на голову терновый венец. И, конечно же, прохожие только смеялись.

Иосиф не помнил, когда жена забрала у него ребёнка, яростное иерусалимское солнце, от которого, казалось, плавилась камни, светило ему в спину, пыль, поднимавшаяся от дороги, ложилась на одежду, по щекам текли горячие слёзы, а он всё стоял и стоял на коленях, не в силах двинуться с места...

«Велик город Иерусалим, и многие насмехались над Господом, но единственно я уразумел, что сие было грехом. И именно как уразумевший и был предан проклятию. Небеса не карают того, кто творит грех, не ведая, что творит. Иными словами, я один несу на себе бремя греха за то, что Господа подвергли мучительной смерти на кресте. Но коль скоро именно наказание влечёт за собой искупление, спасён Господом буду тоже только я один. Ибо тому, кто, сотворив грех, уразумел, что именно он сотворил, Небеса ниспосылают одновременно и кару, и искупление». Вот так в конце записок Вечный Жид отвечает на мой второй вопрос. И вряд ли стоит тратить силы на то, чтобы проверить, правилен этот ответ или нет. В конце концов, получить ответ на вопрос – и то уже немало. А если кому-нибудь удастся обнаружить в старинных книгах на Востоке или на Западе ответ на мои вопросы, надеюсь, что вы не сочтёте за труд поставить меня в известность. Я же со своей стороны рассчитывал привести ещё больше цитат из вышеупомянутых записок, но, к сожалению, у меня не хватило места. Поэтому ограничусь

тем, что сошлюсь в заключение на Берингуда, который усматривает истоки легенды о Вечном Жиде в 28-м отрывке 16-й главы Евангелия от Матфея и в 1-м отрывке 9-й главы Евангелия от Марка.

## Показания Огаты Рёсая

Настоящим я, как было велено, со всем возможным почтением сообщаю о том, чему сам стал свидетелем в нашей деревне, где в последнее время приверженцы христианства творят бесчинства и смущают умы.

Седьмого дня третьего месяца сего года ко мне пришла деревенская женщина по имени Сино, вдова крестьянина Ёсаку, и попросила осмотреть её захворавшую дочь Сато, девяти лет.

Упомянутую мною Сино, третью дочь крестьянина Собэя, выдали за Ёсаку десять лет назад, однако супруг её вскоре после рождения дочери скончался от болезни. Сино не вышла замуж повторно и жила, перебиваясь скудными заработками от ткачества и подённой работы. Увы, после смерти мужа она, впав в заблуждение, обратилась в христианскую веру и стала часто навещать в соседней деревне так называемого «падре» по имени Родриге, из-за чего поползли слухи, будто она вступила с этим падре в предосудительную связь. Её родные, и прежде всего отец Собэй, как только ни уговаривали Сино одуматься, тщетно: она отмахивалась от советов и продолжала с утра до вечера вместе с дочерью молиться перед крошечным столбиком с перекладиной посредине, который зовётся у них распятием, не удосуживаясь даже навестить могилу мужа. Через некоторое время не только родня отрёклась от Сино, но и в деревне стали поговаривать, не изгнать ли её вовсе.

По вышеназванным причинам я, несмотря на слёзные мольбы Сино, счёл невозможным удовлетворить её просьбу, и она покинула мой дом. Однако на завтра, восьмого дня, она вновь явилась ко мне, непрестанно повторяя: «Молю вас, заклинаю, осмотрите мою дочь, и я до конца дней своих буду вам благодарна!» Сино не слушала моих настойчивых отказов, а потом и вовсе упала на пол в моей прихожей, причитая в слезах: «Долг врача – лечить недуги, как же можете вы не внять мольбам матери и не пойти к хворому ребёнку!» Я ответил ей так: «Слова твои справедливы, однако я отказываю тебе не просто так. Виною всему твои заблуждения: ты смеешь поносить богов и великого Будду, которых почитаю и я, и все твои односельчане, да при этом клеветещешь, будто мы чуть ли не дьяволом одержимы, лишь потому, что следуем своей вере. Отчего же тогда ты, праведница, исполненная благочестия, просишь меня, чья душа бесами ведома, излечить твою дочь? Тебе следует обратить свои мольбы к божеству, которому ты столь усердно поклоняешься, а я соглашусь осмотреть твоего ребёнка, только если ты отринешь свою бесполезную веру. Иначе, хоть врачу и пристало человеколюбие, не жди от меня помощи, ибо я страшусь кары богов и Будды». После этих моих слов Сино, как я и ожидал, вернулась восвояси, так, вероятно, и не поняв до конца моих резонov.

На рассвете следующего, девятого дня хлынул сильный дождь, и на деревенских улицах не видно было ни души. Приблизительно в шесть часов утра на пороге моего дома вновь появилась Сино, без зонтика, вымокшая до нитки, и опять молила меня осмотреть её дочь, на что я ответил: «Хоть я и не самурай, но слов своих назад не беру. Решайся: либо жизнь дочери, либо вера в твоего бога». Тогда Сино словно обезумела. Рухнув передо мною на колени, она молитвенно сложила руки и зашлась в рыданиях: «Как бы вы ни были тверды в своих намерениях, прошу, смилуйтесь! Если я откажусь от христианской веры, то душа моя пропадёт в геенне огненной! Пожалейте же хотя бы моего ребёнка!» Несмотря на преданность еретическому учению, сердце у неё было женское, тем не менее я, пусть и не мог не испытывать сострадания, помнил, что чувства не дают мне права нарушать законы своей страны, и продолжал повторять: «Если не отречёшься, не стану лечить твою дочь».

Вдруг Сино, словно в одно мгновение осознав, что я останусь непреклонен, замолчала и некоторое время пристально смотрела на меня. Затем слёзы снова хлынули у неё из глаз. Припав к моим ногам, она что-то зашептала едва слышно, не громче комариного писка, и, поскольку тогда с новой силой за окном полил дождь, я не мог разобрать ни слова, и несколько

раз переспросил её, чтобы она внятно произнесла: «Да будет так. Если иного выхода нет, я вынуждена отречься...» На это я отвечал, что без доказательств не имею оснований верить её словам, после чего она вынула из-за пазухи вышеупомянутое распятие, положила на пол и трижды наступила на него ногою. Теперь она будто успокоилась, слёзы на щеках высохли, и лишь в глазах, которые неотрывно смотрели на распятие, я видел блеск, словно у больного лихорадкой, и оттого мне самому, и слуге моему, и домочадцам стало не по себе.

Поскольку условие моё было соблюдено, я тут же велел слуге взять сундучок с лекарствами, и мы под проливным дождём отправились к дому Сино, где в тесной комнатке лежала на постели, обращённой изголовьем к югу, хворающая Сато. Её действительно мучил сильнейший жар, девочка была в полузабытьи, и вновь и вновь ослабевшей ручкой рисовала в воздухе крест, с улыбкой шепча: «Аллилуйя!» Слово это произносят христиане для прославления своего главного божества, как объяснила мне сквозь плач Сино, склонившись к подушке дочери. Я без промедления приступил к осмотру: выяснилось, что девочка больна не чем иным, как тифом, уже запущенным, посему жить ей оставалось считанные часы, – такие неутешительные выводы я и был вынужден сообщить Сино. Её будто вновь охватило безумие: «Я предала свою веру ради спасения дочери. Если она погибнет, всё было зря! Прошу, поймите, как горько сейчас мне, отрёкшейся от Господа, исцелите мою Сато во что бы то ни стало!» Так без конца причитала она, простирая руки и кланяясь не только мне, но и моему слуге, однако вылечить девочку было уже не под силу человеку. Я увещевал Сино, предостерегая от неблагоприятных поступков, а когда, оставив ей лекарственного отвара на три приёма, собрался домой, тем более что и дождь как раз прекратился, она вцепилась в мой рукав и не позволяла мне уйти, беззвучно шевеля губами и словно желая что-то сказать. Потом вся краска вдруг сошла с её лица, и Сино потеряла сознание. Сначала я опешил от неожиданности, но быстро спохватился, и мы со слугою стали приводить её в чувство. Вскоре Сино очнулась, однако была слишком слаба, чтобы даже стоять на ногах, и только проговорила сквозь слёзы: «Ах, из-за слабости своей я лишилась разом и дочери, и милостивого Господа!» Она вновь принялась рыдать, стелать и сокрушаться, и сколько бы я ни утешал её, не слышала ни единого моего слова. Учítывая, что состояние Сато не оставляло ни малейшей надежды на благополучный исход, я позвал слугу и отправился к себе.

После обеда в тот же день я навестил больную матушку деревенского старосты, господина Цукагоси Ядзаэмона, и услышал от него, что Сато скончалась, а Сино от горя повредила умом. Судя по всему, девочка умерла примерно через час после моего ухода, а около одиннадцати часов утра Сино утратила рассудок и, обняв тело дочери, стала выкрикивать какие-то молитвы. Всё это происходило на глазах не только господина Ядзаэмона, но и других жителей деревни: господина Киэмона, господина Того, господина Дзибэя и других, – поэтому я могу поручиться за то, что именно так всё и случилось.

Следующим же утром, десятого дня третьего месяца, моросил мелкий дождик, а около восьми часов вдруг разразилась первая весенняя гроза. Едва ненастье утихло, за мною послали коня от всеми уважаемого господина Янасэ Киндзюро, который просил меня как можно скорее явиться и осмотреть некоего больного, поэтому я забрался в седло и выехал со двора. Когда я приблизился к дому Сино, путь мне преградила толпа крестьян, которые сыпали ругательствами и кричали: «Проклятые иноверцы! Еретики!» – и собралось их так много, что моему коню даже некуда было ступить. Тогда я, не спешиваясь, заглянул в дом через распахнутые двери: там один чужеземец и трое японцев, все в чёрном облачении, похожем на монашеское, стояли с чем-то вроде курительниц в руках и хором нараспев произносили: «Аллилуйя! Аллилуйя!» У ног рыжеволосого мужчины лежала, прижимая к себе дочь, Сино, с растрёпанными волосами и словно в полуобмороке. Потом я увидел то, что привело меня в немалое изумление: Сато крепко обнимала мать за шею и тонким своим голосом то повторяла «аллилуйя!», то звала Сино по имени. Находился я довольно далеко, однако сумел разглядеть, что у

девочки на удивление здоровый цвет лица, и она то и дело отпускает шею матери и вытягивает руки, словно пытаясь поймать дым от вышеупомянутых курильниц. Я слез с коня и расспросил деревенских жителей о чудесном воскрешении Сато, и они с трепетом рассказали, что утром явился в дом Сино пришлый священник Родриге с тремя послушниками, выслушал её исповедь и покаяние, а потом они вместе стали читать молитвы своему главному божеству, окуривать дом заморскими благовониями и кропить святой водой, отчего помешательство Сино вдруг рассеялось, а Сато воскресла к жизни. Разумеется, я слышал о случаях воскрешения: и в древности, и в наши дни бывало, что усопшие возвращались к жизни, – но случалось это в основном после отравления вином либо ядовитыми миазмами. А вот чтобы ожил умерший от тифа вроде Сато – такого я никогда прежде не слышал, отчего мне сразу стало ясно, что объяснить произошедшее можно лишь воздействием нечестивых христианских обрядов. Кроме того, когда вышеописанный Родриге вошёл в деревню, беспрестанно раздавались раскаты грома, из чего можно понять, что и небесам он ненавистен.

Деревенский староста Цукагоси Ядзаэмон уже сообщил властям, что Сино с дочерью Сато в тот же день ушли вместе со священником Родриге в соседнюю деревню, а дом Сино благодаря его святейшеству Никкану, настоятелю храма Дзигэндзи, разрушен и сожжён, поэтому я больше не видел и не слышал ничего, кроме изложенного выше. Если я что-либо ненароком упустил или позабыл, сообщу о том дополнительно, а на сём показания свои заканчиваю.

*Провинция Иё, уезд Увагори, деревня...*

*Лекарь Огата Рёсай*

## Смерть христианина

*Даже три сотни лет, проведённые в удовольствиях, — лишь мираж в сравнении с будущим бесконечным блаженством.*

*Гия де Пекадор,  
японский перевод*

*Всякий, кто ступил на путь добродетели, познает сладость, сокрытую в божественном учении.*

*Imitatione Christi,  
японский перевод*

### 1

В стародавние времена в японском городе Нагасаки при эклезии<sup>2</sup> под названием «Санта-Лючия» жил юноша-японец по имени Лоренцо. Говорили, что его, упавшего в голодный обморок, Рождественской ночью нашли прихожане храма, а местный священник, сжалившись, дал ему приют. Когда юношу спрашивали о происхождении, он с беззаботной улыбкой отвечал, что родом он из парайсо<sup>3</sup>, а отец его — дэусу<sup>4</sup>; ни разу никому не сказал он правды. Впрочем, люди говорили, что родители его не какие-нибудь язычники: и сапфировые чётки на запястье Лоренцо были тому подтверждением, — поэтому и святой отец, и многочисленные братья по вере окружили юношу заботой. Твёрдостью веры он не уступал даже взрослым, чем приводил в восторг местных старейшин. Все вокруг считали Лоренцо ангелом на земле, и хоть и не знали ничего о его семье, полюбили всю душой.

Кроме того, черты лица у Лоренцо были словно у драгоценной скульптуры, а голос по-девичьи чистый и нежный, что лишь добавляло ему очарования. Один монах по имени Симеон и вовсе относился к Лоренцо как к младшему брату и повсюду сопровождал его, крепко держа за руку. Этот Симеон, тоже японец, происходил из семьи самураев, состоявших когда-то на службе у даймё, поэтому, отличаясь высоким ростом и физической силой, не раз приходил на выручку священнику, в которого язычники бросали камни и осколки черепицы. Рядом с Лоренцо он походил на горного орла, оберегающего голубку, или на ливанский кедр, обвитый цветущей виноградной лозой.

Быстро пролетело три года, и пришло время Лоренцо совершить обряд совершеннолетия, однако по городу поползли слухи, будто бы он вступил в тайную связь с дочерью торговца зонтиками и плетёными шляпами, который жил недалеко от Санта-Лючии. Старик тоже верил в Господа и частенько приводил дочь в эклезию. Однако девушка и во время молитвы не сводила глаз с Лоренцо, державшего на службах кадило. В церковь она всегда являлась с изысканной причёской и непрестанно поглядывала в сторону прекрасного юноши. Разумеется, от других прихожан это не укрылось. Одни говорили, что видели, как она легонько наступила ему на ногу, проходя мимо. Другие утверждали, что заметили, как парочка обменялась любовными записками.

Святой отец, очевидно, счёл своим долгом вмешаться. Однажды он подозвал к себе Лоренцо и, покусывая кончик седого уса, мягко сказал:

---

<sup>2</sup> Храм.

<sup>3</sup> Рай.

<sup>4</sup> Бог.

– До меня дошли слухи о тебе и дочери торговца зонтиками. Это лишь досужие сплетни, верно?

Лоренцо, опечаленно качая головой, со слезами на глазах ответил:

– Такого и в мыслях моих случиться не могло.

И святой отец, и другие старейшины поверили словам юноши, поскольку такой набожный молодой человек едва ли стал бы лгать.

Однако, хотя сомнения священника тогда рассеялись, среди прихожан Санта-Люции продолжали ходить слухи. Симеон, любивший Лоренцо как брата, волновался о нём больше всех. Поначалу он относился к кривотолкам скептически, а потом не отважился спросить у Лоренцо напрямую, но однажды во дворе церкви обнаружил любовное послание девушки к Лоренцо. Симеон пошёл к юноше в комнату и устроил тому допрос с пристрастием, прибегнув и к угрозам, и к запугиваниям. Лоренцо лишь краснел от смущения да твердил:

– Эта девушка, кажется, в меня влюблена, я видел её письма, но ни разу с нею даже не заговаривал.

Симеон, коль скоро дело дошло до городских сплетен, не отступал и пуще прежнего приставал с расспросами. В конце концов Лоренцо, наградив Симеона долгим скорбным взглядом, укоризненно произнёс:

– Неужели ты думаешь, что я бы тебе солгал?

С этими словами он вылетел из комнаты, как быстрокрылая ласточка. Симеон устыдился своих подозрений и уже собирался уйти, как вдруг Лоренцо вбежал в комнату, бросился ему на шею и сбивчиво прошептал:

– Я виноват. Пожалуйста, прости меня.

Затем, не дав Симеону ответить, оттолкнул его и, очевидно, чтобы скрыть свои слёзы, вновь опрометью бросился прочь. Что означали его слова: «Я виноват»? В чём: в тайной связи с девушкой или в том, что был резок с ним? – ответа Симеон не находил.

Ещё через неделю по городу поползли слухи, что дочь торговца зонтиками беременна. Причём она якобы сама призналась отцу, что носит дитя Лоренцо из эклезии Санта-Люция. Старик пришёл в ярость и отправился напрямик к святому отцу, чтобы потребовать наказать Лоренцо. Оправдать юношу уже не было никакой возможности, и в тот же день собрание прихожан во главе со священником постановило отлучить Лоренцо от церкви. Затем его следовало изгнать из Санта-Люции, лишив таким образом и средств к существованию, ведь, оставив грешника в церкви, они не смогут славить Господа. И те, кто так любил Лоренцо, решили его прогнать.

Тяжелее всех приходилось названному брату Лоренцо Симеону. Однако он скорее был разгневан тем, что Лоренцо его обманул, нежели огорчён его изгнанием. И вот, когда несчастный юноша плёлся к выходу, навстречу злым ветрам, Симеон подошёл к нему и что есть силы ударил кулаком по прекрасному лицу. По словам очевидцев, удар сбил Лоренцо с ног, однако тот поднялся и, возведя к небу полные слёз глаза, проговорил:

– Боже, прости раба твоего Симеона, ибо он не ведает, что творит.

Эти слова остудили гнев Симеона. Некоторое время он ещё стоял в дверях, трясая кулаками, а братья-христиане пытались его успокоить. Наконец он скрестил руки на груди и, хмурый, словно небо перед бурей, не отводя глаз, наблюдал, как Лоренцо покидает Санта-Люцию. Позже присутствовавшие при этом прихожане стали утверждать, что ровно в ту самую минуту в небе Нагасаки, как раз над головой бедного юноши, садилось солнце, и его хрупкая фигура будто плыла среди огненного зарева.

С тех пор Лоренцо влачил жалкое, нищенское существование, обретаясь в бедной лачуге на окраине города, – времена, когда он держал на службах кадило, канули в Лету. За то, что он когда-то был христианином, неверующие презирали его едва ли не больше, чем за принадлежность к отверженным. Бессердечные дети дразнили Лоренцо: стоило ему выйти на улицу,

его забрасывали камнями и осколками черепицы и порой угрожали палками, а то и мечом. Говорили также, что он подхватил страшную лихорадку, которая свирепствовала тогда в Нагасаки, и семь дней и семь ночей пролежал на обочине дороги, корчась от боли. Лишь безмерная любовь и милость дэусу оберегала жизнь Лоренцо и ниспосылала ему пропитание: дикие плоды, рыбу или моллюсков – даже в те дни, когда никто не подавал ему милостыню деньгами или рисом. Говорили, что именно поэтому Лоренцо никогда не забывал в молитвах поблагодарить Господа за проведённые в Санта-Лючии годы, а сапфировые чётки на его запястье ничуть не поблекли. Более того, ночью, когда на город опускалась темнота и стихали шаги прохожих, юноша выбирался из своей лачуги и шёл к церкви Санта-Лючия, чтобы просить защиты у Господа Дзэсу Кирисуто.

Увы, к тому времени прихожане позабыли о бедном Лоренцо, и даже святой отец не испытывал к нему жалости. Изгоняя его из церкви, все были уверены в бесчестье Лоренцо и никак не ожидали, что он станет еженощно являться в Санта-Лючию и творить молитвы. Видимо, такой путь, тернистый и полный скорби, был предначертан юноше всевидящим дэусу.

Что касается дочери торговца зонтиками, то уже через месяц после отлучения Лоренцо она родила девочку. Её старик отец души не чаял в первой внучке: заботился о дочери и ребёнке, укачивал девочку на руках и даже, по словам некоторых людей, клал рядом с нею маленькую куколку. Впрочем, в его поступках не было ничего удивительного, а вот если кто и вёл себя странно, так это брат Симеон. С самого рождения девочки этот здоровяк, способный, казалось, одолеть в поединке даже дьявола, стал каждый день навещать дом торговца зонтиками. Он поднимал малышку своими огромными неловкими руками, вспоминал о хрупком и скромном Лоренцо, которого любил как младшего брата, и глаза его наполнялись слезами. Дочь торговца, очевидно, рассерженная тем, что Лоренцо ни разу не пришёл к ней после изгнания из Санта-Лючии, не особенно жаловала и Симеона.

Однако, как гласит поговорка, время человеку неподвластно. Незаметно пролетел целый год. В Нагасаки нежданно-негаданно нагрянула большая беда – страшный пожар, в котором сгорела половина города. Очевидцам, верно, никогда не забыть той жуткой ночи. Казалось, что сквозь гул пламени слышны трубы, призывающие горожан на Страшный суд. Дом торговца зонтиками, к несчастью, стоял с подветренной стороны, и огонь перекинулся на него мгновенно. Напуганные отец и дочь выскочили на улицу и только тогда хватились ребёнка. Спящая девочка осталась в своей кровати – в доме, охваченном пожаром. Старик от отчаяния стал топтать ногами и сыпать проклятиями. Соседи с трудом удерживали его дочь, чтобы она не кинулась в горящий дом спасать ребёнка. Ветер всё крепчал, и теперь свирепые языки пламени почти доставали до звёзд в небесах. Людям же оставалось лишь успокаивать и утешать девушку, которая обезумела от горя и ужаса. Вдруг из толпы появился брат Симеон. Рослый и сильный, он тут же, не раздумывая, ринулся в огонь. Однако даже он вынужден был отступить перед ревущей стихией. Симеон ещё несколько раз пытался прорваться в дом, но выбегал обратно. Наконец он подошёл к торговцу зонтиками и его дочери, оцепеневшим от страха, и промолвил:

– Таков Промысел Божий. Смиритесь, ибо бесплодны все наши усилия.

В это мгновение рядом со стариком кто-то вскричал:

– Господи, помоги!

Симеон обернулся на знакомый голос – там стоял не кто иной, как Лоренцо. Отблески зарева плясали на его по-прежнему прекрасном, но измождённом лице, ветер трепал длинные чёрные волосы, ниспадавшие на плечи. Конечно, Симеон тут же узнал его, хотя вид Лоренцо имел самый что ни на есть жалкий. В дырявой нищенской рубахе стоял он перед толпой и смотрел на горящий дом. А дальше всё происходило стремительно. Налетел ветер, взметнув в небо столп искр, и Лоренцо бросился в огонь. Симеона прошиб холодный пот.

– Господи, помоги ему! – воскликнул он, неистово крестясь.



Ему вдруг вспомнилось, как Лоренцо, прекрасный и печальный, покидал Санта-Лючию и заходящее солнце озаряло его фигуру.

Христиане, ставшие свидетелями поступка Лоренцо, хоть и поразились его отваге, всё-таки не могли забыть его бывшего бесчестия. Ветер разносил над гудящей толпой ядовитые слова.

– Что ни говори, а отцовская любовь так или иначе себя явит, – сказал кто-то. – Лоренцо решил спасти своего единственного ребёнка, чтобы замолить грехи.

Торговец зонтиками тоже глядел на Лоренцо оторопело, а когда тот скрылся в огне, стал заламывать руки и выкрикивать что-то бессвязное. Его дочь, словно окончательно утратив разум, упала на колени и замерла, опустив лицо в ладони. С неба на неё сыпались искры, едкий дым застилал глаза, но она продолжала самозабвенно и беззвучно молиться. Вдруг толпа с гулом расступилась: среди языков пламени появился, будто сошедший с небес, Лоренцо с девочкой на руках. В эту секунду с оглушительным треском рухнула с крыши одна из балок, подняв в воздух столб дыма и огня. Лоренцо исчез, а на том месте, где он стоял, заплесало багровое марево.

От ужаса у всех потемнело в глазах, и даже Симеон и старик застыли на месте. Дочь торговца зонтиками с воплем вскочила на ноги, так что подол её взметнулся, обнажив ноги, а потом рухнула наземь, будто сражённая молнией. К себе она прижимала маленькую девочку – живую или мёртвую, неизвестно. О, словами не описать милость Господа нашего! Лоренцо сумел из последних сил бросить ребёнка к ногам матери. Девочка, к счастью, осталась целой и невредимой, а вот Лоренцо был погребён под рухнувшей балкой.

Дочь старика, расплещись на земле, проливая над ребёнком слёзы счастья, а торговец зонтиками воздел руки к небу и стал славить мудрость Господню. Слова сами собой слетали с его губ. Симеон же ринулся в огненную гущу, желая лишь одного – спасти Лоренцо. И вновь старик вознёс в ночное небо молитвы, полные тревоги и надежды. Вторя ему, и дочь его, и остальные христиане принялись молить Бога:

– Господи, помоги нам!

И тогда Всевышний, непорочной Девы Марии дитя, понимающий все людские горести и печали, наконец внял их мольбам. Глядите! Симеон выходит из огня, а на руках у него – Лоренцо, он спасён, хоть и покрыт страшными ожогами.

Однако и на этом удивительные события не закончились. Почти бездыханного Лоренцо прихожане отнесли к воротам эклезии и положили с наветренной стороны. Дочь торговца зонтиками, всё ещё рыдая и прижимая к себе ребёнка, рухнула на колени перед священником, вышедшим из церкви, и вдруг начала исповедоваться.

– Моя дочь рождена не от господина Лоренцо, а от сына нашего соседа-язычника.

По её решительному тону и блеску заплаканных глаз всем стало ясно, что она говорит чистую правду. Столпившиеся вокруг христиане слушали её, затаив дыхание и совсем забыв о бушевавшем рядом пожаре.

Утерев слёзы, девушка добавила:

– Я всегда любила господина Лоренцо, но он, непоколебимый в своей вере, отверг меня. Потому я и сказала, что ребёнок от него: хотела досадить ему за нанесённую мне обиду. Однако господин Лоренцо в великодушии своём не возненавидел меня за клевету, а вместо этого сегодня спас мою дочь из огня, несмотря на опасность. Я преклоняюсь перед его добротой и молюсь о нём как о втором пришествии Господа нашего. Вспоминая о содеянном мною зле, я готова хоть сейчас отдать своё тело на растерзание бесам.

Она снова залилась слезами. По толпе прокатились крики: «Мученик! Мученик!» Лоренцо, следуя заветам Господа нашего Дзэсу Кирисуто, проявил сострадание к грешнице и не убоился даже нищеты. Ни святой отец, воспитывавший его как родного, ни Симеон, кото-

рого Лоренцо почитал как брата, не сумели разгадать его души. Как ещё его назвать, если не мучеником?

Сам Лоренцо, слушая исповедь девушки, лишь слабо кивал. У него обгорели и волосы, и кожа, он не мог ни говорить, ни двинуть рукой или ногой. Старик, глубоко опечаленный словами дочери, и Симеон сидели подле Лоренцо, желая хоть как-то облегчить его страдания, однако дыхание юноши слабело с каждой секундой, конец был близок. Только его глаза, глядящие в звёздное небо, сияли как прежде.

Святой отец, чья белоснежная борода развевалась на свирепом ночном ветру, выслушал исповедь от начала до конца, а затем встал перед воротами Санта-Люции и торжественно произнёс:

– Блажен тот, кто раскаялся. И да не коснётся его карающая рука человеческая. Всем нам следует ещё усерднее восхвалять Господа и смиренно ждать Страшного суда. Лоренцо поступал так, как наставлял нас Господь, и являет собой редкий пример истинной добродетели. А ведь он ещё так молод...

Святой отец вдруг замолчал, неотрывно глядя на Лоренцо, который лежал у его ног, словно юношу осиял свет харайсо<sup>5</sup>. Сколько благоговения было во взгляде священника! Руки его дрожали, по щекам катились слёзы.

Смотри, Симеон! Смотри и ты, старый торговец! Смотрите все! У ворот Санта-Люции, озарённый всполохами алых, точно кровь Спасителя, языков пламени, лежал прекрасный юноша, а из-под обгоревшей рубахи виднелись, словно две драгоценные яшмы, белые груди. Только теперь все поняли, отчего лицо его, сейчас покрытое ожогами, всегда выглядело таким нежным. Значит, Лоренцо – девушка! Лоренцо – девушка! Смотрите, христиане, стоящие спиной к пожару, словно стена! Лоренцо, отлучённый от церкви за нарушение целомудрия, – это девица с чарующим взглядом, такая же, как дочь торговца зонтиками.

Говорят, прихожан охватил благоговейный трепет, словно голос самого Господа раздался с небес, в которых не видно было ни одной звёздочки. И склонились головы, как колосья на ветру, и люди упали на колени вокруг Лоренцо. До них доносился только рёв пламени да чьи-то рыдания. Быть может, это плакала дочь торговца? Или Симеон, считавший Лоренцо младшим братом? И тогда святой отец простёр над Лоренцо руки и начал торжественно и печально читать молитву. Едва стих его голос, как девушка, которая звалась Лоренцо, увидела в глубине тёмной ночи сияние харайсо и с умиротворённой улыбкой на устах покинула бренный мир...

О ней больше ничего не известно. Впрочем, какое это имеет значение? Самое ценное в человеческой жизни – сиюминутные, неповторимые душевные порывы. Они подобны лучу ещё не взошедшей луны, который выхватывает из тьмы морскую волну, поднявшуюся над океаном страстей человеческих. Только жизнь, наполненная чувством до последней капли, прожитая не зря. Так будет ли справедливо сказать, что, зная о последних мгновениях Лоренцо, мы знаем о её жизни всё?

## 2

Среди книг в моей библиотеке есть одна под названием «Legenda Aurea», изданная орде-ном иезуитов Нагасаки. В ней можно найти не только западноевропейскую «Золотую легенду». Помимо изречений и деяний заморских апостолов и святых в ней описано мужество и жертвенность японских христиан – по-видимому, книга должна была способствовать распространению Евангелия.

Издание состоит из двух томов, напечатанных на бумаге из Мино хираганой и скорописью. Знаки на страницах расплывчатые, поэтому их не всегда даже удаётся разобрать.

---

<sup>5</sup> От искаж. *порт.* *paraiso* – рай.

На обложке первого тома латинскими буквами в горизонтальную строчку написано название книги, а под ним в две вертикальные строчки выгравировано по-японски: «1596 год от Р. Х., 2-й год Кэйтё, первая декада третьего месяца». Слева и справа от даты изображены трубящие ангелы. Рисунки, несмотря на примитивную технику исполнения, не лишены привлекательности. Обложка второго тома ничем не отличается от первого, если не считать надписи: «Выгравировано в середине мая».

В двух томах около шестидесяти страниц. Первый состоит из восьми глав, второй – из десяти. Каждый из них начинается предисловием неизвестного автора и заканчивается оглавлением, написанным латинскими буквами. Предисловия не отличаются изящным слогом, а некоторые выражения кажутся буквальным переводом с какого-то европейского языка. Возможно, предисловия составлены европейцем – священником, чьё имя осталось неизвестным.

«Смерть христианина» основана на второй главе второго тома «Золотой легенды», которая, вероятно, представляет собой точное описание событий, случившихся в одном христианском храме города Нагасаки. Однако о большом пожаре, на фоне которого развернулся финал этой истории, нет упоминаний ни в одном источнике, начиная с «Рассказов о гавани Нагасаки», поэтому установить точную дату событий невозможно.

В рассказ «Смерть христианина», коль скоро он предназначен для широкой публикации, я осмелился внести кое-какие изменения. Буду счастлив, если мне удалось не слишком навредить простоте и изяществу подлинника.

## Убийство в век просвещения

Ниже вы прочтёте предсмертное письмо врача, назовём его Китабатакэ Гиитиро, которое недавно дал мне человек, именуемый здесь виконтом Хондой. Думаю, называть настоящее имя доктора Китабатакэ бессмысленно, поскольку теперь его едва ли кто-то помнит. Я и сам узнал о нём, лишь когда сблизился с виконтом Хондой: он поведал мне множество занимательных историй о том, что происходило в первые годы Мэйдзи<sup>6</sup>. Что за человек был доктор, каковы были его характер и поступки – предсмертное письмо даст читателю представление о его личности. Я лишь добавлю несколько случайно услышанных фактов. Доктор Китабатакэ считался в своё время видным специалистом по внутренним болезням и в то же время слыл знатоком театрального искусства, выступавшим за радикальную реформу театра. Мне говорили, что он даже написал комедию в двух действиях, перенеся действие вольтеровского «Кандида» в Японию эпохи Токугава<sup>7</sup>. Видел я и фотографию Китабатакэ, сделанную в ателье Китанивы Цукубы. На ней был запечатлён человек атлетического телосложения, с бакенбардами на английский манер. Доктор Китабатакэ, по словам виконта Хонды, по физическим данным превосходил европейцев и с самого юношества привык добиваться успеха в любом деле. Характер его отразился даже в почерке: письмо написано размашистыми, крупными иероглифами в стиле китайского каллиграфа Чжэн Баньцяо.

Сознаюсь: публикуя письмо, я позволил себе некоторые вольности. Так, я называю Хонду виконтом, хотя в то время титулов ещё не существовало. Тем не менее осмелюсь утверждать, что дух письма сохранён в неприкосновенности.

\* \* \*

«Ваша светлость виконт Хонда, госпожа виконтесса!

Перед уходом из жизни я хочу признаться вам в постыдном секрете, который уже три года храню в глубинах сердца, и рассказать о своём поступке, не имеющем никакого оправдания. Если у вас после прочтения этой исповеди проснётся чувство сострадания ко мне, уже предчувствующему скорую кончину, это станет для меня невиданной радостью. Однако я пойму вас и в том случае, если вы посчитаете меня безумцем, заслуживающим порицания даже после смерти. Моя история действительно весьма необычна и может навести вас на мысль о том, что я сумасшедший. Прошу, не думайте так. Пускай в последние месяцы меня мучила жестокая бессонница, я тем не менее сохранил ясность сознания и всё происходящее понимал вполне отчётливо. Заклинаю вас: памятуя о двадцати годах знакомства (не смею назвать нас друзьями), не допускайте сомнения в моём психическом здоровье! Иначе эта исповедь, в которой я хочу раскрыть перед вами свой позор, обернётся бесполезным клочком бумаги.

Господин виконт, виконтесса! Я достойный презрения человек, ибо совершил убийство в прошлом и замышлял такое же преступление в будущем. Причём во второй раз (что определённо вас удивит) я уже готовился совершить убийство человека, самого близкого для одного из вас. Здесь я снова предостерегу вас: я пишу это в полном сознании, и всё написанное – истинная правда. Прошу поверить мне и не считать моё предсмертное письмо, единственное напоминание о моей жизни, бредом умалишённого.

Жить мне осталось недолго, именно поэтому я так спешу рассказать о том, почему совершил убийство, как оно было совершено, и о странном состоянии, охватившем меня, когда всё

---

<sup>6</sup> Годы Мэйдзи – 1868–1912 гг.

<sup>7</sup> Эпоха Токугава – 1603–1867 гг.

было кончено. Сейчас, согрев дыханием застывшую тушь и дрожащей рукою положив перед собой лист бумаги, я застыл над ним, не в силах совладать с чувствами. Проследить цепочку событий и изложить их на бумаге – значит пережить всё заново. Снова я задумываю убийство, снова совершаю его, снова меня терзают страдания последнего года. Смогу ли я это выдержать? Я вновь обращаюсь к Христу, от которого много лет назад отвернулся. Услышь меня, Господи! Ниспосли мне силы...

Ещё в юности я влюбился в свою кузину Акико, носившую в девичестве фамилию Канродзи, ныне супругу виконта Хонды (прошу меня простить великодушно за то, что говорю о вас, виконтесса, в третьем лице). Надо ли описывать счастливые часы, которые мы провели вместе с Акико? Думаю, не стоит вас утомлять – ведь тогда вы не дочитаете письмо до конца. Расскажу лишь об одном светлом воспоминании, которое навеки отпечаталось в моём сердце. Мне исполнилось шестнадцать, Акико не было ещё и десяти. Одним прекрасным майским днём мы играли под цветущими глициниями во дворе её дома. Акико спросила, как долго я могу стоять на одной ноге. Я ответил, что не сумею этого вовсе. Тогда Акико подняла ногу, ухватила её за носок одной рукой и, грациозно удерживая равновесие, подняла вверх другую руку. Она стояла так долго-долго. Вверху покачивались лиловые глицинии, сквозь них пробивались лучи весеннего солнца, а внизу прекрасным изваянием замерла Акико. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Возвращаясь в прошлое, я с удивлением обнаруживаю, что уже тогда, в тот день, глядя на Акико под лиловыми глициниями, я любил её всем сердцем. Любовь захватывала меня всё сильнее, занимала все мои мысли, и я почти забросил учёбу. Но я так и не смог открыться. Несколько лет я то погружался во тьму, то ловил на себе яркий свет, то плакал от неизбывного горя, то смеялся от нескончаемой радости. А когда мне исполнился двадцать один год, отец вдруг сообщил, что отправляет меня в далёкий Лондон изучать медицину – ею занимались все мужчины в нашей семье. Прощаясь, я чуть не признался Акико в любви, однако я был воспитан в строгих традициях конфуцианства, не привык открыто выражать свои чувства и боялся наказания за нарушение приличий, поэтому скрепя сердце отправился в английскую столицу, мучаясь болью от разлуки с любимой.

За три года я, гуляя по Гайд-парку, не раз вспоминал Акико под лиловыми глициниями. Разумеется, шагая по какой-нибудь улице Пэлл-Мэлл, я умирал от одиночества. Страдания мне облегчали только яркие мечты о будущем, о нашей с Акико совместной жизни. А возвратившись на родину, я узнал, что Акико вышла замуж за Мицумуру Кёхэя, директора банка. Я сначала хотел покончить с жизнью, но по малодушию да ещё из-за христианской веры, которую принял в Англии, не смог. Ах, знали бы вы, какое горе я тогда испытывал! Потом я решил снова уехать в Лондон, чем разгневал отца. А я чувствовал лишь одно: Япония без Акико для меня совершенно чужая. «Чем предаваться отчаянию на отвергшей меня родине, лучше уж, прихватив томик «Паломничества Чайльд-Гарольда», уехать в дальние края, колесить самому по свету и лечь в могилу где-нибудь на чужбине», – думал я. Однако уехать в Англию мне не дали. Я начал принимать в отцовской больнице многочисленных пациентов – меня предпочитали другим врачам, поскольку я только что окончил учёбу за границей, – и день за днём с утра до вечера не выходил из своего кабинета.

Вот тогда я и обратился к Богу, моля его исцелить мне сердце от несчастной любви. В то время я дружил с английским миссионером Генри Таунсендом. Он прочёл и объяснил мне некоторые главы из Библии и способствовал тому, чтобы после долгих лет мучений моя любовь к Акико постепенно переросла в тёплое, но спокойное братское чувство. Помню, как мы говорили с Таунсендом о Боге, о любви божественной и человеческой. Споры заканчивались далеко за полночь, и мне частенько приходилось одному брести домой по безлюдным кварталам Цукидзи. Наверное, такая сентиментальность вызовет у вас снисходительную улыбку, однако, шагая по ночным улицам и глядя на полумесяц, я беззвучно молил Бога нис-

послать счастье моей кузине Акико... Много раз, не в силах сдержать подступившие чувства, я заливался горькими слезами.

Впрочем, я не имел ни мужества, ни сил, чтобы выяснить, чем вызваны перемены в моём сердце: примирился ли я с судьбой или есть иные причины. Тем не менее я был убеждён, что новое чувство братской любви излечило моё израненное сердце. Первое время после возвращения я старался избегать Акико и её супруга, боялся даже случайно услышать их имена, а потом, наоборот, стал искать с ними встречи. Как же наивен я был, полагая, что моим терзаниям придёт конец и я обрету покой, когда своими глазами увижу их семейное счастье.

Однако эта уверенность и свела меня наконец с Мицумурой Кёхэем, супругом Акико. Мы повстречались третьего августа в одиннадцатый год Мэйдзи во время большого фейерверка у моста Рёгоку; нас познакомил мой товарищ, и мы провели весь вечер в ресторане «Манбати» в компании друг друга и нескольких гейш, смеялись, пили, веселились... Веселился ли я? Нет, грусть вновь завладела моей душой. В дневнике я написал: «Как вспомню, что Акико замужем за развратником Мицумурой, не могу совладать с гневом и печалью. Господь научил меня видеть Акико сестрой, но отчего же он доверил мою сестру такому чудовищу? Нет, я не стану больше терпеть выходки жестокого и лживого бога. Как могу я возносить молитвы и славить имя Господне, когда сестра под властью отвратительного извращенца! Отныне я не полагаюсь на божью милость, я своими руками освобожу Акико от сластолюбивого беса».

Выводя эти строки, я вновь вижу перед собой события того вечер, будь он проклят! Снова лёгкий туман над водой, сотни красных фонариков и нескончаемые цепочки разукрашенных прогулочных лодок. Вовек не забыть мне огни фейерверка, на мгновение заливавшие небо всполохами и тут же гаснувшие; не забыть пьяного мерзкого Мицумуру, горланящего пошлые песенки, от которых хотелось где-нибудь спрятаться, заткнув уши; этого подлеца Мицумуру, развалившегося на циновках и обнимающего одной рукой пожилую многоопытную гейшу, а другой – совсем юную девочку, нежный и чистый цветок... Господь всемогущий! Помню я и три герба с переплетающимися ростками мёга на его тонком чёрном хаори. Именно тогда, любуясь фейерверком из ресторана «Манбати», я понял, что должен его убить. Нет, меня не просто одолела ревность: я был движим исключительно праведным гневом, желал восстановить справедливость и наказать распутство.

С тех пор я начал следить за Мицумурой. Следовало убедиться, вправду ли он такой негодяй и бесстыдник, каким показался мне в тот вечер. По счастью, мне помогли знакомые газетчики. Они сообщили такие жуткие подробности о Мицумуре, что мне трудно было поверить. Как раз примерно тогда же мой товарищ Нарусима Рёхоку рассказал, как Мицумура соблазнил в весёлом квартале Гион в Киото несовершеннолетнюю ученицу гейши, и в итоге девушка погибла. Мало того, со своей женой, кроткой и нежной Акико, мерзавец обращался как с прислугой. Язва, воплощённая в человеке, – вот как следовало бы его называть! И тогда я заключил, что само его существование разлагает нравственность и вредит обществу; его исчезновение старикам принесёт удовлетворение, а молодым – успокоение. Так, постепенно моё решение стало складываться в конкретный план убийства.

Меня, однако, ещё мучили сомнения, стоит ли исполнять свой план. К счастью или на беду, в это непростое время судьба свела меня с юным виконтом Хондой. Однажды вечером, в чайном домике «Касивая», что в квартале Хокудзё, я услышал от Хонды печальную историю его любви. Оказалось, что они с Акико были уже обручены, когда Мицумура с помощью денег добился отмены помолвки. Тогда я разъярился ещё больше. Меня и сейчас трясёт от гнева при воспоминании о кознях Мицумуры, которые описал мне виконт Хонда в тот вечер в комнате ресторана с опущенными бамбуковыми шторами, при тусклом свете единственной лампы. Помню и то, какая печаль меня охватила, когда я, возвращаясь на рикше домой, вдруг осознал: Хонда и Акико были обручены. Позволю себе вновь обратиться к своему дневнику. «После сегодняшней встречи с виконтом Хондой я окончательно решил в ближайшие же дни

убить Мицумуру. Из рассказа виконта я понял, что они с Акико не только были обручены, но действительно любят друг друга. (Вот почему виконт избегает женитьбы!) Стало быть, если я убью Мицумуру, виконт и Акико смогут воссоединиться. Кроме того, сами Небеса оказывают мне поддержку: Акико так и не родила Мицумуре ребёнка. Я невольно начинаю улыбаться при мысли, что, уничтожив злодея, помогу моим дорогим виконту и Акико начать вместе новую счастливую жизнь». Так написал я в дневнике.

Вскоре я приступил к исполнению своего плана. Тщательно всё обдумав, я наконец выбрал место для убийства. Нашёл я и средство, которое позволило мне без труда осуществить задуманное. Полагаю, в письме я могу опустить ненужные подробности. Вы, верно, помните вечер двенадцатого июня двенадцатого года Мэйдзи, когда его высочество внук германского императора посетил театр «Синтомидза»? Возможно, помните вы и то, что Мицумура, возвращаясь из театра в свою резиденцию, неожиданно скончался в собственной карете. Я лишь добавлю, что тем вечером некий доктор средних лет заметил у Мицумуры нездоровый цвет лица и посоветовал ему принять пилюлю... Ах, только представьте себе состояние этого доктора! Под кроваво-красными фонарями стоял он у ворот театра «Синтомидза», провожая глазами карету Мицумуры, уезжающую прочь под проливным дождём. В его сердце бурлила вчерашняя ненависть и сегодняшняя радость. С его уст срывался то горестный стон, то хриплый смех. Он позабыл, где находится, потерял счёт времени. Когда же этот доктор, смеясь и плача, словно сумасшедший, возвращался домой по грязным улицам, то повторял шёпотом одно драгоценное имя: Акико...

В ту ночь я не сомкнул глаз, меряя шагами свой кабинет. Что я чувствовал: радость или печаль? Я и сам не мог разобраться. Какое-то острое, сильное чувство охватило меня, не давая успокоиться. На столе стояла бутылка шампанского. Рядом – букет роз в вазе. И там же лежала коробочка с пилюлями. Словно я задумал пировать с дьяволом и ангелами...

Никогда в жизни не был я так счастлив, как в последующие месяцы. Врач из полиции, как я и предполагал, заключил, что смерть произошла от кровоизлияния в мозг, и не нашёл ничего подозрительного; Мицумуру вскоре похоронили, и теперь черви пожирали его в непроглядной тьме. Я перестал опасаться обвинений в убийстве. Потом до меня дошли вести, что Акико после смерти мужа словно ожила. С улыбкой на губах я принимал пациентов, а в свободное время с виконтом Хондой ходил в театр «Синтомидза», – мною владело странное желание снова и снова смотреть на огни сцены и красную обивку кресел, лицезреть поле боя, на котором я одержал столь весомую победу.

Однако радость моя длилась недолго. Через несколько месяцев эйфории я стал поддаваться искушению, омрачившему всю мою жизнь. Отчаянная борьба с ним подталкивала меня к краю... Увы, мне не хватает духу, чтобы рассказать вам об этой битве. Даже сейчас, выводя эти строки, я вынужден сражаться со змеем-искусителем. Если вы желаете представить мои страдания, не считите за труд просмотреть краткие выдержки из моего дневника.

«... октября. Поскольку у Акико и Мицумуры не было детей, она покидает его дом. В последний раз мы виделись шесть лет назад. Я решил навестить её вместе с виконтом Хондой. Вернувшись из Англии, я избегал встречи с Акико: вначале боялся самого себя, потом думал, что ей будет тяжело меня видеть, – так продолжалось до недавнего времени. Сияют ли глаза Акико так же, как шесть лет назад?

... октября. Сегодня зашёл за виконтом Хондой, чтобы вместе нанести визит Акико. Неприятно удивился, узнав, что он уже несколько раз с нею встречался без меня. Почему он меня сторонится? Мне стало не по себе, и я поспешно ушёл из дома виконта, якобы из-за срочного вызова к больному. После моего ухода Хонда, вероятно, поехал к Акико один.

... ноября. Вместе с виконтом нанёс визит Акико. Красота Акико поблекла, однако, глядя на неё, я всё ещё без труда могу представить девочку, стоявшую под лиловыми глициниями.

Ах, наконец я её увидел! Но что за тоска меня вдруг охватила? Не зная причины, страдаю лишь сильнее.

... декабря. Виконт, думаю, намерен жениться на Акико. Цель, ради которой я убил мужа Акико, вскоре будет достигнута. И всё же... И всё же меня не покидает странное болезненное чувство, будто я вновь теряю свою Акико.

... марта. До меня дошли слухи, что свадьба виконта и Акико ожидается в конце года. Молюсь, чтобы она состоялась как можно скорее. Иначе ощущение мучительной разлуки никогда меня не оставит.

12 июня. Был в театре «Синтомидза». Глядя на сцену и вспоминая, как ровно год назад справедливая кара настигла мою жертву, не переставал улыбаться. Однако на пути домой я вдруг подумал о мотивах того убийства и был поражён настолько, что забыл, куда шёл. Ради кого я всё-таки убил Мицумуру? Ради виконта Хонды? Ради Акико? Или ради себя самого? Что мне на это ответить?

... июля. Сегодня вечером виконт, Акико и я ездили смотреть, как по реке Сумида пускают фонарики. Отблески света в карете делали глаза Акико ещё прекраснее, и я даже позабыл о сидящем рядом виконте. Однако написать я хотел не об этом. Когда виконт пожаловался на боль в желудке, я опустил руку в карман, вынул коробочку с пилюлями и замер от изумления. Те самые пилюли. Как они попали в мой карман? По странному совпадению? Хотел бы я, чтобы это оказалось случайностью. Но, боюсь, случай тут ни при чём.

... августа. Я пригласил виконта и Акико на ужин. Весь вечер вспоминал о пилюлях, лежащих в кармане. Похоже, в глубине моей души поселилось непостижимое для меня самого чудовище.

... ноября. Виконт и Акико наконец сыграли свадьбу. Я же досаую на самого себя. Так сбежавший с поля боя солдат ругает себя за трусость.

... декабря. Сегодня ходил осмотреть виконта. Рядом стояла Акико. Сказала, что ночью у него был сильный жар. Я успокоил Акико – у виконта обычная простуда – и поторопился домой, чтобы приготовить для него лекарство. В течение злосчастных двух часов меня с неодолимой силой манили «те самые пилюли».

... декабря. Ночью видел кошмарный сон, будто я убил виконта. Весь день грудь словно в тисках.

... февраля. О, я наконец понял: чтобы не убить виконта, я должен убить себя. А как же Акико?»

Господин виконт и виконтесса! Я привёл только небольшие отрывки из моего дневника, однако, думаю, теперь вы понимаете, в какой агонии я пребывал многие дни и ночи. Чтобы не убить виконта Хонду, я должен умереть сам. Конечно, я мог бы убить его ради собственного спасения. Но чем бы я тогда объяснял себе мотивы убийства Мицумуры? Неужели я отравил Мицумуру из эгоизма? В таком случае моё «я», моя личность, моя совесть, мои принципы – всё это будет разрушено. Я убеждён, что, покончив с собой, я смогу предотвратить духовный крах. Поэтому ради сохранения собственной личности я решил сегодня разделить участь своей жертвы, воспользовавшись «теми самыми пилюлями».

Ваша светлость виконт Хонда, госпожа виконтесса! Теперь вы знаете, что заставило меня свести счёты с жизнью, и, когда вы получите это письмо, я уже буду на том свете. Перед лицом смерти я решил раскрыть вам тайну своей проклятой жизни лишь потому, что желал хоть немного оправдаться. Если я, по-вашему, заслуживаю ненависти, то возненавидьте меня, если жалости – пожалейте. Ненавидя и жалея сам себя, я с радостью приму и вашу ненависть, и вашу жалость. Итак, прощайте. Через минуту я отложу перо, попрошу карету и отправлюсь прямо в театр «Синтомидза». Когда вечерний спектакль подойдёт к концу, я проглочу несколько «тех самых» пилюль и вновь сяду в карету. Хотя сейчас другое время года, морозящий дождик



напомнит мне о ливне, который шёл тогда, и я так же, как жирный хряк Мицумура, буду провожать взглядом огоньки проезжающих мимо экипажей и слушать вечерний дождь, барабанищий по крыше кареты. Едва я отъеду от театра, как настанет последнее мгновение моей жизни.

Моё письмо вы, вероятно, получите уже после того, как прочитаете в утренней газете, что доктор Китабатакэ Гиитиро скончался в карете по пути домой из театра от внезапного кровоизлияния в мозг. Прощайте. До самого конца я буду молиться о вашем счастье и здоровье.

*Вечно преданный вам,  
Китабатакэ Гиитиро».*

## Житие святого Кирисутохоро<sup>8</sup>

Эта повесть, подобно «Смерти христианина», некогда опубликованной мною на страницах журнала «Мита бунгаку», является несколько приукрашенной версией первой части «Золотой легенды» из моего «Христианского собрания». С той только разницей, что «Смерть христианина» – выдумка местных христиан, а «Житие святого Кирисутохоро» относится скорее к разряду жизнеописаний святых, которые издавна были очень популярны во всех западных католических странах, так что, опубликовав «Золотую легенду», я, можно сказать, впервые познакомил читателей и с первым, и со вторым.

В «Житии» полным-полно почти смехотворных несуразностей, как хронологических, так и топографических, но, стремясь по возможности сохранить аромат эпохи оригинала, я решил не вносить в текст никаких исправлений. И буду чрезвычайно рад, если господа читатели не откажут мне в присутствии здравого смысла.

### В горной глуши

Было это давным-давно. В одной стране, называлась она Сирия, в горах жил великан по имени Рэпуробосу. И так он был огромен, что другого такого не сыщешь нигде, как ни велика земля, которую солнце милостиво одаряет светом своим. Ростом он был едва ли не больше трёх дзё<sup>9</sup>. В волосах, густых, как плющ эбикадзура, свили себе гнёзда крошечные синички, и столько их было, что и сосчитать невозможно. Руки его и ноги напоминали стволы горных сосен или криптомерии. Когда же он шёл, эхо от его шагов разносилось по семи долинам. Прокормить себя ему тоже было нетрудно – стоило только шевельнуть пальцем, чтобы свалить оленя, скажем, или медведя. А когда вдруг хотелось ему полакомиться рыбкой, он выходил на берег моря и, распластав по песку свой подбородок, заросший дремучей, как водоросли миру, бородой, одним глотком втягивал всю воду, какая была, а вместе с ней, шумно колотя хвостами, устремлялись в его глотку окуни и тунцы. Рассказывали, что иногда и корабль, бороздящий океанские просторы, вдруг подхватывала приливная или отливная волна и несла неведомо куда, так что у матросов и кормчих душа уходила в пятки.

Однако Рэпуробосу от рождения наделён был добрым сердцем и никогда не причинял вреда даже случайно забредавшим в горы путникам, не говоря уже о самих горных жителях – дровосеках там или охотниках. Наоборот, он валил деревья, которые оказывались не по плечу дровосекам, преграждал путь зверю, которого не удавалось загнать охотникам, взваливал на собственные плечи ношу, пригибавшую к земле усталого путника, – словом, был так добр и отзывчив, что во всей округе и далеко за её пределами не было никого, кто желал бы ему зла. Рассказывают, что как-то в одной из деревенок вдруг пропал мальчик-пастушок, и сколько ни искали его, найти не могли, а вечером в доме, где он жил, вдруг кто-то распахнул окошко в крыше, и когда, преодолев страх, отец и мать выглянули наружу, то увидели, что откуда-то от звёздного неба к их дому спустилась огромная, словно плащ мино, ладонь Рэпуробосу, а в ней безмятежно спал ребёнок. И разве это не говорит о редкостных душевных качествах, отнюдь не всегда свойственных даже великанам?

Жители гор платили Рэпуробосу добром за добро и, встречая, частенько угощали его домашними лепёшками или вином, а то и просто болтали с ним дружески о том о сём. Так они жили-поживали, пока не случилось вот что. Как-то раз дровосеки, отправившись в горы

---

<sup>8</sup> Речь идёт о святом Христофоре. В переводе сохранено японское звучание имён. Например: Эсу Кирисуто – Иисус Христос, Матай – Матфей.

<sup>9</sup> Дзё – мера длины, равная 3,79 м.

за дровами, забрались в самую чашу криптомерии, и тут из зарослей мелкого бамбука кумасаса большими шагами вышел великан. Желая, по обыкновению своему, угостить его, дровосеки развели костёр из опавшей листвы и разогрели кувшинчик вина. Казалось бы, капля, но, похоже, Рэпуробосу обрадовался и ей: бросив горсть крошек от недоеденного дровосеками хлеба синичкам, свившим гнёзда в его волосах, он сел, скрестив ноги, и сказал:

– Родись я, как и вы, человеком, я бы наверняка совершил много замечательных подвигов и, в конце концов, сделался бы даймё.

Дровосекам слова его показались забавными.

– А ведь верно, – отвечали они, – с такой-то силищей... Да ты только взмахнёшь рукой, и двух-трёх крепостей как не бывало.

Услыхав такие слова, Рэпуробосу озабоченно нахмурился.

– Так-то это так, – сказал он, – но есть тут одна загвоздка. Ведь я всю свою жизнь прожил в горах, а потому откуда мне узнать, под чьими знамёнами должно сражаться? Полководец какой страны почитается теперь в Поднебесной самым доблестным воином? Именно такому я бы стал служить верой и правдой и помчался бы впереди его коня.

– Что ж, слушай, – отвечали дровосеки. – По нашему разумению, нет ныне в Поднебесной воина, равного доблестью государю страны Антиокии.

Услыхав это, великан возрадовался чрезвычайно.

– Раз так, я немедленно отправлюсь к нему, – заявил он и поднял своё, подобное небольшой горе, тело. Но вот что странно – стоило ему встать, как жившие в его волосах синицы, громко захлопав крыльями, взмыли вверх и улетели туда, где на фоне неба сплетались ветви деревьев; улетели, не оставив ни единого птенца. Рассказывают ещё, что будто бы, когда облепили они верхушку криптомерии, клонившей свои ветви к земле, можно было подумать, что на дереве уродились диковинные плоды. Рэпуробосу проводил синиц подозрительным взглядом, но, похоже, решение его было непоколебимо, и, дружески простившись со столпившимися у его ног дровосеками, он снова шагнул в бамбуковые заросли, и скоро его неуклюжая фигура скрылась из виду.

Слух о том, что Рэпуробосу вознамерился стать даймё, распространился по ближним и дальним горным селениям, а спустя некоторое время ветер принёс ещё одну весть: однажды на озере у пределов этой страны завязло в иле рыбацкое судёнышко, и пока рыбаки суетились вокруг, не в силах сдвинуть его с места, вдруг откуда ни возьмись появился какой-то чудной великан. Никто и глазом моргнуть не успел, как, крепко ухватив судно за мачту, он, словно играючи, вытянул его на берег, а пока все недоумевали да дивились, куда-то исчез, только его и видели. Услыхав об этом, все, кто знал Рэпуробосу, поняли, что их добрый великан покинул пределы страны Сирии, и с тех пор, обращая взоры к вершинам, ширмой заслонявшим западное небо, жители гор невольно вздыхали. И, конечно же, больше других горевал о разлуке с ним тот мальчишка-пастушок: когда вечернее солнце опускалось за горы, он залезал на самую верхушку росшей у околицы одинокой криптомерии и, забывая о скучившихся внизу овцах, печальным голосом зывал: «О, Рэпуробосу, милый Рэпуробосу, где ты теперь, через какие горы лежит твой путь?» Ну а теперь тот, кто прочитал первую главу и хочет узнать о дальнейшей судьбе Рэпуробосу, может прочесть следующую.

### Скороспелый даймё

Итак, Рэпуробосу без труда достиг крепостного града Антиокия. Здесь было все совсем не так, как в горной глуши: столица страны Антиокии была в те времена одним из самых богатых и шумных городов Поднебесной, – и стоило Рэпуробосу появиться на улице, как его окружали толпы зевак, лишая возможности продвигаться вперёд. В результате Рэпуробосу окончательно потерял дорогу и, остановившись на перекрёстке в том квартале, где находились

княжеские усадьбы, стал как вкопанный, а людские волны, набегая, разбивались о его ноги. К счастью, как раз в тот миг показалась пышная процессия с царским паланкином в центре. Теснимые слугами зеваки мигом разбежались по сторонам, оставив великана одного. Рэпуробосу склонился в глубоком поклоне, так что его могучие, похожие на ноги слона, ручки коснулись земли, и сказал:

– Я великан, и зовут меня Рэпуробосу. Сказывали мне, что нет в Поднебесной лучшего властелина, чем царь страны Антиокии. Решив послужить ему, я пустился в путь и вот пришёл сюда.

А надо сказать, что у царских телохранителей при виде Рэпуробосу душа ушла в пятки от страха, они готовы были уже пустить в ход свои пики и алебарды, но, услышав эти удивительные слова, рассудили, что на коварство это вроде бы не похоже, и тут же, остановив процессию, передали слова великана начальнику охраны, а уж тот довёл их до слуха самого государя. Государь же молвил:

– Такой гигант и воинской доблестью должен превосходить обычных людей. Беру его к себе на службу. – И тут же издал особый указ о немедленном зачислении Рэпуробосу в свою свиту.

Радость Рэпуробосу и описать невозможно. Став в конце процессии и получив десять сундуков, которые не по плечу были бы и тридцати силачам, он, гордо задрав нос, прошествовал до ворот расположенного неподалёку дворца. Истинно замечательное и диковинное это было зрелище, когда Рэпуробосу с огромными, как горы, сундуками на спине, размахивая ручищами, вышагивал, глядя сверху вниз на следовавших за паланкином людей и всадников.

С тех пор Рэпуробосу, облачённый в полотняное платье с лаковым гербом и препоясанный длинным мечом в киноварных ножнах, днём и ночью охранял дворец царя страны Антиокии, и, к счастью, ему не пришлось долго ждать, чтобы показать, на какие ратные подвиги он способен: очень скоро войска соседнего царства подступили к стенам антиокийской столицы, намереваясь захватить её. Вёл же эти войска богатырь силы невиданной, один стоивший тысячи: о нём поговаривали, что даже из схватки с царём тигров выходит он победителем, – так что, судя по всему, сражение предстояло нешуточное, поэтому царь страны Антиокии решил поставить во главе войска своего нового слугу, Рэпуробосу, и, лично изволив прибыть к месту главной ставки, отдал соответствующий приказ. Узнав об этом, великан запрыгал, не помня себя от радости, но вряд ли стоит этому удивляться.

Вскоре войска были собраны и во главе с Рэпуробосу под боевые звуки раковин, гонгов и барабанов выступили к границе страны и расположились на широком поле. А вражеским войскам, давно уже жаждавшим битвы, только это и надобно было. Развевавшиеся на поле брани знамёна и стяги вдруг взметнулись, словно волны, противники разом издали боевой клич: казалось, ещё миг – и бросятся друг на друга. Тут один из антиокийцев неторопливым шагом вышел вперёд, и, конечно же, был это не кто иной, как Рэпуробосу. Его голову украшал рогатый шлем, доспехи из железа, вывезенного из страны южных варваров, защищали могучий стан, рука сжимала алебарду с коротким древком и копьём в семь сяку<sup>10</sup> длиной. Казалось, будто внезапно ожила главная крепостная башня, земля задрожала, и широкое поле вдруг показалось совсем маленьким. Остановившись посередине между двумя войсками, Рэпуробосу выставил вперёд алебарду и, обратившись к вражескому войску, издал громовой клич:

– Те, кто далеко, да услышат, те, кто близко, да увидят воочию. Я Рэпуробосу, славный богатырь из войска царя страны Антиокии. Милостью царской поставлен я сегодня во главе войска и вот привёл его сюда. Кто готов сразиться со мной, выходи!

И так грозен и страшен был его вид, что даже самые храбрые воины притихли и никто не осмеливался выйти вперёд; вряд ли сам Гориатэ, герой из древней страны Пэрисутэ, вну-

---

<sup>10</sup> Сяку – мера длины, равная 33 см.

шал большой ужас, когда, сверкая чешуйчатыми доспехами и потрясая медным копьём, бросал свой вызов миллионному войску. Предводитель вражеского войска рассудил, что не видать им победы, ежели не убьют они этого великана. Он выхватил великолепный меч длиной в три сажу, прищипорил извергавшего пену благородного скакуна и, издав громкий боевой клич, бросился на Рэпуробосу. Но тот, словно играючи, взмахнул алебардой и принялся наносить противнику удар за ударом, затем, отбросив прочь оружие, вытянул вперёд свои обезьяньи ручищи и, мигом выхватив вражеского генерала из седла, словно камень из пращи, метнул его к далёкому небу. Перевернувшись несколько раз в воздухе, генерал с грохотом рухнул в ряды антиокийских воинов, и осталась от него только горстка костей. В тот же миг по антиокийскому войску прокатился громкий боевой клич, и, окружив со всех сторон царский паланкин, воины, подобно снежной лавине, бросились на врага. Всё это произошло так быстро, что никто и глазом моргнуть не успел. Войска соседнего государства, бросая на ходу оружие и снаряжение, пустились наутёк и разбежались кто куда. Говорят, что во время великой победы, одержанной в тот день, антиокийские воины одних только голов в шлемах захватили больше, чем дней в году, и это истинно так.

Велика была радость царя. Под приветственные победные песни объезжал он свои войска, и очень скоро Рэпуробосу был удостоен звания даймё. Придворные же один за другим задавали пиры, на которых снова и снова превозносились подвиги великана. Как-то вечером на одном из таких пиров и произошло то, о чём я хочу вам рассказать. По обычаю того времени на пир пригласили лучших сказителей, и, устроившись под большим светильником, они перебирали сладкозвучные струны и пели о битвах нынешних и прошлых, да так живо, что собравшимся казалось, что они видят всё собственными глазами. В тот вечер Рэпуробосу, дождавшийся исполнения своей давней мечты, весело хохотал, пуская слюни, и беззаботно осушал чарку за чаркой червонного вина, но вдруг бросилось ему в глаза странное поведение государя, сидевшего на парадном месте за парчовым занавесом. Как ни хмелен был великан, он не мог не заметить, что стоит главному сказителю помянуть какого-то «дьяболо», как царь торопливо поднимает руку и пальцами как бы рисует в воздухе крест. Это показалось Рэпуробосу столь необыкновенным и значительным, что он осмелился спросить сидящего рядом с ним придворного:

– Почему это государь всё время изволит рисовать в воздухе крест?

И вот что тот ответил:

– Тот, кого называют «дьяболо», обладает необыкновенной силой; все люди, живущие в Поднебесной, словно игрушки у него на ладони. Троекратно осеняя себя крестным знамением, государь лишает дьяболо силы и защищает себя.

Услыхав такие слова, Рэпуробосу спросил недоуменно:

– Но мне говорили, что царь страны Антиокии – богатырь, равного которому нет в Поднебесной. Уж наверное, этот дьяболо и пальцем его коснуться не посмеет.

– Увы! – покачал головой придворный. – Даже государь не обладает таким могуществом.

Услыхав эти слова, великан разгневался:

– Но ведь я стал служить государю только потому, что он слывёт самым доблестным воином в Поднебесной! А ежели он готов покориться этому дьяболо, так я сейчас же уйду отсюда и поступлю на службу дьяболо.

С этими словами Рэпуробосу отшвырнул чарку и готов был подняться, но придворные, за одним с ним столом сидевшие, закричали разом:

– Государь, великан замышляет мятеж! – и бросились на него, стремясь опередить друг друга.

Разумеется, они хорошо знали, что он не имел в виду ничего дурного, но завидовали его будущим подвигам. В другое время придворным не удалось бы одолеть Рэпуробосу, но в тот вечер, выпив слишком много червонного вина, он опьянел и плохо понимал, что происходит,

поэтому хотя некоторое время и отбивался от своих многочисленных противников, раздавая удары направо и налево, но вскоре нечаянно поскользнулся и с грохотом повалился на пол, а придворные с громкими криками: «Наша взяла!» – кучей навалились на негодующего великана и скрутили его по рукам и ногам. Государь, с самого начала до конца внимательно наблюдавший за происходящим, сказал:

– Как же неблагодарен этот негодай! Бросьте его в подземелье!

И так велик был высочайший гнев, что ещё до наступления рассвета несчастный Рэпуробосу был брошен в отвратительно грязную темницу с земляным полом. А те, кто прочёл эту главу и хочет знать, улыбнулась ли наконец судьба Рэпуробосу, ставшему узником антиокийской темницы, может прочесть следующую.

### Визит дьяболо

Итак, Рэпуробосу, крепко связанный по рукам и ногам, был брошен в кромешный мрак подземелья, где, словно дитя малое, долго стenal и плакал жалобно, да и что ещё ему оставалось делать? Вдруг откуда ни возьмись возник учёный муж в алом облачении и ласково спросил:

– Ты ли это, Рэпуробосу? Как ты попал в это место?

И великан, проливая потоки слёз, пожаловался:

– Я пошёл против воли государя и сказал, что хочу служить дьяболо, – вот за это меня сюда и заточили. Ох-ох-о-о...

Услыхав это, учёный муж снова спросил ласково:

– Так ты и теперь готов служить дьяболо?

– Готов, – кивнул Рэпуробосу в ответ.

Возрадовавшись, учёный муж захохотал, да так громко, что содрогнулись стены подземелья, затем всё тем же ласковым голосом сказал в третий раз:

– Давненько не приходилось мне слышать таких приятных речей. Раз так, я вызволю тебя из темницы.

С этими словами он накинул на плечи Рэпуробосу свой алый плащ... и – о чудо! – верёвки, которыми был связан великан, тотчас же разорвались. Удивлению Рэпуробосу не было границ. Робко поднялся он на ноги и, не отрывая глаз от лица учёного мужа, склонился в почтительном поклоне.

– Вы освободили меня, и никогда, ни в каких рождениях, не забуду я о вашей милости. Но как мне выбраться из этой темницы?

Учёный снова улыбнулся:

– Для меня нет ничего невозможного в этом мире.

С этими словами он взмахнул рукавом своего алого одеяния и, подхватив Рэпуробосу, зажал у себя под мышкой. В следующий миг под ногами у них потемнело, подул яростный ветер, и скоро оба уже летели над землёй. Оставив далеко позади темницу, они, разбрасывая вокруг искры, поднялись в ночное небо над Антиокией. И в это мгновение облик учёного мужа изменился – он поднял на плечи готовую взойти луну и стал похож на огромную диковинную летучую мышь, которая, расправив чёрные тучи крыльев, летела по небу.

У Рэпуробосу душа ушла в пятки; летя по небу со скоростью выпущенной стрелы, он дрожащим голосом спросил у своего спутника:

– Но кто вы? Самый мудрый учёный на свете не может сравниться с вами.

А тот, усмехнувшись язвительно, нарочито небрежным тоном отвечал:

– Мне нечего скрывать! Я тот самый могучий богатырь, для которого люди что игрушки на ладони.

Тут только Рэпуробосу и догадался, что учёный этот не кто иной, как сам дьяболо. А тот тем временем, подобно диковинной звезде, летел, пронзая небо, и вот уже огни антиокийской столицы остались далеко позади, на дне чёрной бездны, а под летящими раскинулась известная Рэпуробосу понаслышке пустыня Эдзитто. На сотни и сотни ри<sup>11</sup> простиралась песчаная равнина, залитая серебристым светом предрассветной луны. Спутник Рэпуробосу, указывая на мир внизу пальцем с длинным ногтем, сказал:

– Говорят, вот в той хижине внизу живёт отшельник, способный молитвой творить чудеса. Давай-ка спустимся к нему на крышу.

И, по-прежнему сжимая Рэпуробосу под мышкой, дьяболо полетел вниз, опустился на конёк маленькой бедной хижины, притулившейся в тени бархана.

А вот и её хозяин – старец-отшельник, коротающий дни в молитвах. Не замечая, что на землю давно уже опустилась ночь, он читал священную книгу при свете тусклой лампы, как вдруг откуда-то донёсся чудесный благоуханный ветерок, в воздухе закружились белые как снег цветы вишни, а следом за ними неведомо откуда появилась ослепительная красавица: черепаховый гребень и шпильки нимбом сверкали в её волосах, длинный шлейф платья, затканного картинами ада, волочился по полу. Обольстительная, как небесная фея, предстала она – уж не сон ли? – перед взором отшельника. Старцу подумалось даже, что пустыня Эдзитто в мгновение ока каким-то чудесным образом превратилась в весёлые кварталы Муро или Кандзаки. Изумление его было столь велико, что он забыл обо всём на свете и долго не отрывал от прелестницы влюблённого взгляда. Она же, купаясь в цветочной метели, сказала с нежной улыбкой:

– Я самая известная в столице Антиокии куртизанка. Захотелось мне утешить монаха, в унынии коротающего дни, и вот я здесь.

Голос же у неё был едва ли не сладкозвучнее, чем у калавинки, птицы, которая, как скажут, живёт в райских кущах. Поэтому даже святой отшельник и тот поначалу готов был поддаться на её уловки, но тут же сообразил, что не могла такая красавица пожаловать к нему из далёкой, на сотни ри удалённой от его хижины антиокийской столицы. И понял он тогда, что это не иначе как очередная проделка дьяболо, и, опустив глаза в священную книгу, принялся с особым усердием читать молитвы. Красотка же, как видно, решила во что бы то ни стало соблазнить отшельника. Играя рукавами своего великолепного платья, каждый взмах которых наполнял хижину пьянящим ароматом, она льнула к нему, обиженно вздыхая:

– Но как же ты холоден! А ведь я, привыкшая жить в холе и неге, проделала такой дальний путь, не испугалась ни высоких гор, ни бурных рек, ни этой пустыни!

Трудно было устоять перед её нежной прелестью, рядом с ней даже осыпающиеся лепестки вишни казались невзрачными, тело отшельника покрылось испариной, но он всё читал и читал заклинания, изгоняющие бесов, будто бы и не слышал того, что нащёптывал ему дьяболо. Видя, что старания её напрасны, красотка рассердилась, резко взмахнула шлейфом, на котором изображены были картины ада, и, прильнув к коленям отшельника, горько заплакала:

– О, почему ты так жесток?

Старец вскочил, словно ужаленный скорпионом, и, высоко подняв висевший у него на шее крест, возопил голосом, подобным раскатам грома:

– Ах ты, беспутная тварь, да как ты смеешь столь непочтительно вести себя со слугой господина нашего Эсу Кирисутто! – и ударил прелестницу по лицу.

Красотка упала как подкошенная и, опустившись на опавшие цветы, тотчас исчезла, только чёрное облачко поднялось вверх и тут же просыпалось диковинным дождём огненных искр.

---

<sup>11</sup> Ри – мера длины, равная 3,9 км.

– О, какая мука! Снова поразил меня крест! – простонал чей-то голос и замер, взлетев к коньку крыши.

Отшельник же, с самого начала надеявшийся, что именно так и будет, продолжал громко произносить тайные заклęcia, и очень скоро чёрное облако растаяло, цветы вишни перестали сыпаться на землю, и в хижине, как и прежде, осталась одна лампада, но, полагая, что дьяболо так просто не отступится, старец, положившись на чудотворную силу Священного Писания, всю ночь до самого рассвета не смыкал глаз. А когда наконец за окном посветлело, кто-то постучал в дверь хижины, и он, держа перед собой распятие, вышел посмотреть, кто это, и что же – перед хижинкой, почтительно кланяясь, стоял на коленях великан ростом с небольшую гору: то ли с неба упал, то ли возник из-под земли. Подпирая плечом чернеющее небо, в котором всё ещё вспыхивали красные отблески, великан склонил голову перед отшельником и робко сказал:

– Я великан из страны Сирия, и зовут меня Рэпуробосу. Сделавшись слугой дьяболо, я совершенно неожиданно попал в пустыню Эдзитто, но, как видно, и сам дьяболо не может тягаться с твоим властелином, имя которому, если не ошибаюсь, Эсу Кирисуто во всяком случае, бросив меня здесь одного, он скрылся неведомо куда. Дело в том, что я давно уже ищу богатыря, равного которому нет под небесами, хочу поступить к нему в услужение, – теперь же совсем сбился с толку. Прошу тебя: помоги мне стать слугой твоего господина Эсу Кирисуто.

Услыхав эти слова, отшельник нахмурил брови:

– Ну нет: боюсь, что ничем не смогу тебе помочь. Тому, кто стал слугою дьявола, нелегко добиться расположения господина Эсу Кирисуто; скорее розы расцветут на засохшем кусте.

Но Рэпуробосу стоял на своём.

– Я принял решение, – сказал он, ещё раз почтительно поклонившись, – и не отступлюсь от него вовеки. Скажи, как должно вести себя, чтобы снискать благосклонность господина Эсу Кирисуто?

И тут, как гласит молва, между отшельником и великаном произошёл такой вот диалог:

– Постиг ли ты Священное Писание?

– Боюсь, что ни единого слова, ни единой буквы оттуда не знаю.

– Способен ли ты воздерживаться от пищи?

– Конечно, нет – я ведь известный обжора.

– Тогда такое испытание вряд ли тебе по силам. А можешь ли ты не спать ночами?

– Конечно, нет – ведь я известный соня.

Тут отшельник замолк, не зная, что ещё спросить, но в следующее мгновение лицо его просветлело и, хлопнув в ладоши, он сказал:

– Если пойдёшь отсюда на юг и пройдёшь около одного ри, то увидишь большую реку: зовётся она рекою Зыбучих Песков. Река эта весьма полноводна, течение же её стремительнее выпущенной из лука стрелы. Слышал я, что в последнее время стало чрезвычайно трудно переправлять через эту реку людей и лошадей. Но для такого великана, как ты, это не составляет никакого труда. Будь же отныне перевозчиком на реке Зыбучих Песков и переправляй через неё всех, кто того пожелает. Если ты станешь помогать людям, то и Бог Небесный поможет тебе.

Услыхав это, великан воспрянул духом:

– Конечно же, я стану перевозчиком на этой самой реке Зыбучих Песков.

Видя такую готовность Рэпуробосу, отшельник возрадовался чрезвычайно:

– Раз так, прими святое крещение.

И, взяв в руки кувшин воды, старец вскарабкался на крышу хижины, чтобы оттуда окропить голову великана. Но вот что удивительно: не успел закончиться этот обряд, как в небе, на котором ярко сияло только что поднявшееся над землёй солнце, возникла тёмная тучка; ещё миг, и она превратилась в несметное множество синиц; синицы же, шумно хлопая крыльями,



опустились прямо на торчавшую в небе голову великана и скрылись в его буйной, как заросли плюща, шевелюре. Такое чудо узревши, старец забыл даже о кувшине со святою водой; устремив восхищённые очи к утреннему солнцу, он смиренно поклонился небу, потом, так и не слезая с крыши, поманил к себе Рэпуробосу и сказал:

– С того мига, как принял ты святое крещение, имя тебе не Рэпуробосу, а Кирисутохоро. Поскольку очевидно, что сам Властелин Небес соизволил благословить твою устремлённость к истинной вере, ты должен, забыв о праздности, исправно нести свою службу, и тогда очень скоро сподобишься ты лицезреть облик господина нашего Эсу Кирисуто.

А о том, что произошло с Рэпуробосу, ставшим теперь Кирисутохоро, дальше, те, кто прочёл эту главу, узнают из следующей.

## Послушание

Итак, Кирисутохоро распрощался со старцем-отшельником и направился к реке Зыбучих Песков, которая, как и говорил старец, оказалась широким и стремительным мутным потоком, колебавшим росший по берегам зелёный тростник и вздымавшим волны на сотни ри вперёд, так что даже кораблю нелегко было плыть по ней. Но поскольку великан был ростом около трёх дзё, то, даже когда он доходил до самой середины реки, вода, образуя многочисленные водовороты, бурлила где-то на уровне его пупка, не выше. Итак, Кирисутохоро сплёл себе на берегу реки маленькую хижину и, когда замечал, что кого-то из путников затрудняет переправа, выходил на берег и объявлял:

– Перевозчик к вашим услугам.

Сначала при виде страшного великана путники, как правило, обращались в бегство: уж не сам ли это Тэмма<sup>12</sup>, думали они и дрожали от страха, – но скоро все поняли, какое доброе у него сердце, и со словами: «Раз так, спасибо», – боязливо забирались к нему на спину. Кирисутохоро же, посадив очередного путника на плечи, обычно вырывал с корнем иву, из тех, что росли на берегу, и, опираясь на этот крепкий шест, уверенной и лёгкой поступью шагал вперёд к противоположному берегу, не обращая ровно никакого внимания на бурлящую вокруг воду. И вот ещё что – даже когда он вот так шагал по воде, стайка синичек, похожих на разлетающиеся по сторонам серёжки ивы, неизменно с весёлым щебетом кружилась вокруг его головы. Да, столь прекрасно было устремлённое к истинной вере сердце Кирисутохоро, что даже эти не имеющие души птички испытывали перед ним невольное благоговение.

Так вот, и в дождь, и в ветер Кирисутохоро переносил путников через реку Зыбучих Песков, но, хотя многие просили у него помощи, ни разу не довелось ему увидеть никого похожего на господина Эсу Кирисуто. Так прошло три года, и вот однажды ночью разразилась страшная буря. Не переставая грохотал гром, и великан, укрывшись вместе с синицами в хижине, предавался размышлениям о своём прошлом, которое казалось ему далёким сном. И вдруг сквозь шум ливня донёсся до него чей-то слабый голосок:

– Нет ли здесь перевозчика? Мне нужно переправиться на тот берег.

Кирисутохоро поднялся и, сгибаясь под порывами ветра, вышел из хижины. И что же он увидел? На берегу реки под беспрестанно сверкавшими в небе молниями один-одинёшенек стоял, опустив голову, отрок лет десяти в чистых белых одеждах. Подивившись такому чуду, Кирисутохоро наклонился к ребёнку, согнув своё огромное, непоколебимое, как скала, тело, и ласково спросил:

– Почему идёшь ты один в такой поздний час?

Дитя же, подняв на него печальные глаза, ответило задумчиво:

– Я иду к отцу моему.

---

<sup>12</sup> Тэмма – вселяющийся в людей злой дух.

Нельзя сказать, что такой ответ показался Кирисутохоро убедительным, но, пожалев это милое дитя, так спешившее перебраться на противоположный берег, он сказал:

– Хорошо, не беспокойся, я перевезу тебя.

Обеими руками подняв отрока, он, как делал это всегда, посадил его к себе на плечи и, опираясь на толстый шест, прошёл сквозь прибрежный тростник и бесстрашно погрузился в ночную реку, над которой бушевала буря. Однако ветер, крутивший в небе чёрные тучи, дул так, что невозможно было дышать. Дождь, вздымая белую пену, хлестал по воде, словно желая проникнуть до самого дна. Иногда вспышка молнии на миг разрезала кромешную тьму, озаряя бурлящие вокруг волны и поднимающуюся к небу водяную пыль, и тогда казалось, что сонмы ангелов, взмахивая белоснежными крыльями, летят в вышине. Словом, ночь была такая, что даже Кирисутохоро с трудом держался на ногах. Тяжело опираясь на палку, он шёл, то и дело спотыкаясь и шатаясь, словно башня, у которой подгнило основание, но самым большим испытанием для него была не столько даже непогода, сколько то, что дитя на его спине с каждым шагом становилось всё тяжелее. Сначала бремя не показалось великану чрезмерным, но чем дальше отходили они от берега, тем тяжелее делался отрок в белых одеждах, и скоро Кирисутохоро стало казаться, что он несёт на плечах своих большой утёс. В конце концов, изнемогая от непомерной тяжести, великан примирился с мыслью, что река Зыбучих Песков станет его последним пристанищем, но вдруг услышал знакомый щебет. Удивившись – что делать малым пташкам в такую тёмную ночь? – он поднял голову и посмотрел вверх. Но что это? Над головой отрока, словно трёхдневный месяц, светло сиял нимб, а вокруг него стайкой кружились синицы, словно и не замечая никакой бури. Такое увидев, великан призадумался: «Пташки малые, и те столь бесстрашны, неужели же я, человек, за одну только ночь лишусь всего, чего достиг за три года служения?» И, тряхнув похожими на плющ эбикадзура волосами, он оперся на готовую вот-вот обломиться толстую палку и, разрезая грудью набегавшие волны, устремился вперёд, к желанному берегу.

Целый час прошёл в поистине жестоких муках. В конце концов Кирисутохоро, словно изнемогший в сражении лев, задышавшись и едва держась на ногах, выбрался на берег, воткнул в песок ивовый посох и, бережно опустив дитя, сказал, с трудом переводя дыхание:

– Что за чудеса: ты ведь совсем ещё дитя, тяжесть же твоя беспредельна, словно море или горы.

Отрок же кротко улыбнулся в ответ, затем, сияя нимбом, который в эту бурную ночь светился ярче обыкновенного, поднял глаза на великана и ласково так ответил:

– Ничего удивительного. Ведь нынешней ночью ты нёс на плечах своих Эсу Кирисуто, принявшего на себя страдания всего мира. – Голос его звенел как колокольчик.

Я решил показать вам величественную фигуру великана, ставшего в ту памятную ночь перевозчиком на реке Зыбучих Песков. От той ночи остался лишь толстый ивовый посох, воткнутый в песок на противоположном берегу реки. Говорят, что на этом давно уже высохшем посохе чудесным образом расцвели пышные и благоуханные алые розы. Как сказал некогда человек по имени Матай, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».

## О себе в те годы

Вероятно, написанное ниже нельзя назвать рассказом. Я и сам не знаю, к какому жанру отнести этот текст. В нём я лишь попытался правдиво и без искажений описать то, что случилось со мной четыре или пять лет назад. У меня есть опасения, что читателям, которых не слишком интересует моя жизнь, мои друзья и наши мысли и чувства, всё это покажется скучным. Впрочем, я решил всё-таки опубликовать эти заметки, рассудив, что подобные сомнения возникают у автора любого литературного произведения. Думаю, стоит оговориться: события, хоть и подлинные, не всегда происходили в описанном порядке, однако сами изложены правдиво.

### 1

Стояло ясное ноябрьское утро. Я вновь натянул неудобную студенческую форму, от которой уже успел отвыкнуть, и пошёл в университет. У главных ворот я столкнулся с Нарусэ, одетым в точно такую же форму. Я сказал: «Здорово!» Он отозвался: «Здорово!» Мы положили рядом свои студенческие фуражки и вошли в старое кирпичное здание, отведённое факультетам права и литературы. Перед доской объявлений у входа стоял Мацуока, облачённый в японскую одежду. Мы снова обменялись приветствиями.

Первым делом мы обсудили «Новую мысль» – наш журнал, который собирались выпустить на днях. Потом Мацуока рассказал, как после долгого перерыва вернулся в университет и пошёл в аудиторию, где проходили занятия по истории западной философии, но, сколько ни сидел там в одиночестве, ни преподаватель, ни другие студенты так и не появились. Почуввав неладное, он вышел на улицу и спросил у привратника, в чём дело. Тогда выяснилось, что был выходной день. Впрочем, Мацуока, будучи рассеянным, нередко попадал в такие истории. Например, однажды он шёл к трамвайной остановке, но почему-то забрёл в табачную лавку; нимало не смутившись, вынул из кармана десять сэнов, протянул их продавцу и сказал: «Один билет туда и обратно, пожалуйста». Тут мимо нас пробежал прислужник – кажется, горбун, – который звонил в колокольчик, извещая о начале занятий.

Нам с Нарусэ пора было идти на лекцию ныне покойного профессора Лоуренса о «Макбете». Попрощавшись с Мацуокой, мы поднялись на второй этаж, где в аудитории уже было полно студентов: одни перечитывали конспекты, другие о чём-то болтали. Мы сели за стол в углу и заговорили о рассказах, которые планировали опубликовать в «Новой мысли». На стене над нашими головами висела табличка «Не курить!», но мы, увлечшись беседой, вынули из карманов по пачке «Сикисимы» и закурили. Запретом пренебрегали не только мы – другие студенты тоже дымили сигаретами. В дверях неожиданно возник профессор Лоуренс с портфелем в руках. Я уже успел докурить и выбросить окурочек в окно, поэтому спокойно раскрыл конспекты, а вот Нарусэ, ещё сидевший с сигаретой в зубах, поспешно швырнул её на пол и раздавил ботинком. К счастью, Лоуренс не заметил струйку дыма, поднимавшуюся между столами. Проведя перекличку, он начал лекцию.

Тогда мы все считали занятия у Лоуренса неинтересными, но в то утро было особенно скучно. Сначала он пересказал сюжет пьесы. Слушать было невыносимо утомительно – Лоуренс говорил сухо, опуская подробности: акт первый, сцена вторая – краткое изложение. Раньше на лекциях я задавался вопросом, как меня угораздило поступить в этот университет, теперь же полностью покорился судьбе, неумолимая воля которой заставляла меня посещать такие незаурядные лекции, так что механически водил пером по бумаге; конспект напоминал

пьесу для Императорского театра в английском переводе. Едва исписав одну страницу, я утомился, стал клевать носом и решил немного подремать.

Вскоре я сквозь сон услышал профессора Лоуренса, говорившего каким-то странным голосом. Вначале я подумал, что он отчитывает меня, однако, открыв глаза, увидел Лоуренса азартно размахивающим томиком «Макбета» и декламирующим отрывок, изображая привратника. Мне пришло в голову, что я и сам тоже привратник, это меня развеселило, и сон как рукой сняло. Сидевший рядом Нарусэ писал конспект, иногда бросая на меня насмешливые взгляды. Я измарал заметками ещё пару страниц, а затем прозвенел звонок. Вслед за профессором Лоуренсом мы дружно высыпали в коридор.

Я стоял у окна, любуясь осенней листвой на деревьях во дворе, когда подошёл Минору Тоёда. «Покажи-ка свой конспект», – попросил он. Я отдал ему тетрадь и тут же сконфузился: часть лекции, которая интересовала Тоёду, я проспал. «Ну что ж», – сказал Тоёда и неспешно удалился. Слово «неспешно» я применил здесь вовсе не случайно. Именно так он всегда и ходил. Где ты сейчас, Тоёда? Чем занимаешься? Среди студентов, которым нравился профессор Лоуренс, или, точнее, среди тех, кому сам Лоуренс симпатизировал, ты был единственным, к кому все мы – или по крайней мере я – испытывали дружеские чувства. Даже теперь, когда пишу эти строки, я вспоминаю твою неспешную походку и хочу снова встретиться с тобой в университетском коридоре, чтобы обменяться привычными «здорово».

Вновь прозвенел звонок, и мы с Нарусэ спустились на первый этаж. Следующей была лекция профессора Кацудзи Фудзиоки по языкознанию. Обычно другие студенты приходили в аудиторию заранее и занимали места в первых рядах, а лентяи вроде нас садились в дальнем углу. Тем утром мы вновь до самого звонка простояли в коридоре на втором этаже, откуда открывался прекрасный вид. Лекции профессора Фудзиоки имели право на существование хотя бы потому, что он обладал звучным голосом и оригинальным чувством юмора. Будучи напроочь лишённым способностей к языкознанию, я бы даже сказал: эти лекции только потому и имели право на существование. Вот и в тот день я, время от времени делая заметки, увлечённо слушал щедро приправленный остротами и любопытными подробностями рассказ профессора о Максе Мюллере. Передо мною сидел студент с длинными волосами, и каждый раз, когда он откидывал голову назад, его волосы с шуршанием падали на мою тетрадь, проезжаясь по страницам. Я не знал даже его имени и не имел случая спросить, зачем ему такая шевелюра, однако именно на той лекции по языкознанию обнаружил, что порой эстетические потребности одного человека могут противоречить практическим потребностям другого. Впрочем, моя практическая потребность в лекции, к счастью, была не столь острой, поэтому я просто переставал писать, когда мне мешали волосы. Потом я и вовсе решил вместо конспекта заняться рисованием. К сожалению, до звонка я успел лишь наполовину зарисовать профиль невероятного щёголя, сидевшего напротив. Звонок, извещавший о конце занятия, одновременно значил, что настал полдень.

Мы с Нарусэ пошли в закусочную «Иппакуся», что была рядом с университетом, поднялись на второй этаж и заказали себе газированной воды и обед за двадцать сэнов. За едой мы говорили о всякой всячине. Мы с Нарусэ крепко дружили. Более того, мы во многом сходились во взглядах. К примеру, мы, не сговариваясь, одновременно прочли «Жан-Кристофа», и оба оказались впечатлены романом. Так что мы всегда находили темы для оживлённых бесед, хоть и виделись почти каждый день. К нам подошёл официант по имени Тани и завёл разговор о бирже. «Ну, если не повезёт, то надо быть готовым и к этому», – подытожил он и заложил руки за спину, изображая, словно его арестовали полицейские. «Глупость какая», – отмахнулся от него Нарусэ, а вот меня слова Тани заинтересовали, поскольку в то время я писал рассказ «Кошелёк». До конца обеда я узнал добрый десяток выражений из жаргона биржевиков.

Лекций у нас больше не было, и мы отправились в гости к Кумэ, который снимал комнату неподалёку от «Иппакуся». Кумэ был ещё ленивей нас и даже не ходил в университет. Боль-

шую часть времени он писал рассказы и пьесы у себя в квартире. Когда мы вошли, он что-то читал – кажется, «Братья Карамазовы», – придвинув к столу небольшую жаровню. Мы уселись, вытянув ноги к жаровне; в нос ударил запах засаленных одеял, смешанный с запахом дыма. Кумэ сообщил, что пишет рассказ о своём отце, который покончил с собой, когда Кумэ был ещё маленьким. Рассказ он писал впервые, поэтому, по его словам, мучился бесконечными сомнениями. Впрочем, внешне на нём это никак не отражалось: выглядел он, как всегда, бодрым и здоровым.

– А у вас как дела? – спросил нас Кумэ.

– Я наконец дописал половину «Носа», – отозвался я.

Нарусэ ответил, что засел за рассказ о своей поездке в Японские Альпы прошлым летом. Мы долго беседовали о писательстве, попивая сваренный Кумэ кофе. Среди нас троих Кумэ мог похвастать самым большим опытом в литературе. Кроме того, он превосходил нас мастерством. Особенно меня изумляла его способность легко и быстро писать трехактные и одноактные пьесы. В нашей компании только Кумэ имел какую-то уверенность в том, что занимает или вскоре займёт прочную позицию в литературных кругах. Однако тем самым он вселял уверенность и в нас, вечно страдавших оттого, что наши таланты не соответствовали высоким идеалам. Честно говоря, если бы не дружба с Кумэ, если бы он нарочно не воодушевлял и не подбадривал меня, я бы так ничего и не написал и до конца своих дней довольствовался ролью читателя, поэтому, когда речь заходила о литературных кругах, Кумэ всегда задавал тон разговору. В тот день он тоже вёл нас за собой, беседа то стихала, то возобновлялась, и я помню, что по какой-то причине часто звучало имя Таямы Катая.

Нельзя не признать, что именно благодаря Таяме натурализм оказал такое значительное влияние на японскую литературу. В этом смысле Таяма заслуживал если не уважения, то по меньшей мере интереса со стороны нынешней молодёжи, как бы ни были скучны его «Жена» и «Сельский учитель» и какой бы наивной нам ни казалась теория «плоскостного изображения». К сожалению, тогда нам ещё не хватало широты взглядов, чтобы оценить масштабы его писательской личности, поэтому мы видели в произведениях Таямы только лунный свет и эротику. В то же время его критические замечания в адрес Гюисманса вызывали у нас усмешку, поскольку мы не могли не сравнивать самого Таяму с Дюрталем<sup>13</sup>. Это не значит, что мы считали Таяму простофилей, однако и великом романистом и философом мы его тоже не признавали. В то время я звал его не иначе как «Sentimental landscape-painter»<sup>14</sup>, поскольку в перерывах между романами и критическими статьями Таяма успел написать немало путевых заметок. Да и большинство его романов, если не вдаваться в детали, тоже были, по сути, записками о путешествиях, в которых время от времени появлялись образы мужчин и женщин, поклонявшихся Venus Libentina<sup>15</sup>. В путевых заметках, надо сказать, Таяма преображался: становился весёлым, искренним, раскрепощённым и наивным, – словно ослик, очутившийся на поляне со свежей травой. Так что, по крайней мере в этой области, Таяма был уникален. Однако тогда нам ещё трудно было разглядеть в нём крупного писателя-натуралиста и мыслителя. Откровенно говоря, к его достижениям мы относились пренебрежительно – мол, он чего-то добился лишь потому, что такое было время.

Завершив беседу, мы с Нарусэ попрощались с Кумэ и вышли на улицу. Короткий зимний день уже заканчивался, на тротуаре лежали длинные тени. Чувствуя хорошо знакомое и всегда такое желанное творческое волнение, мы дошли до остановки на углу третьего квартала Хонго, сели в разные трамваи и поехали по домам.

<sup>13</sup> Дюрталь – персонаж романа французского писателя Ж. К. Гюисманса, парижский декадент.

<sup>14</sup> Сентиментальный пейзажист (англ.).

<sup>15</sup> Богиня сладострастия (лат.).

## 2

Спустя несколько дней установилась ясная погода. После утренних лекций мы с Нарусэ опять отправились к Кумэ и вместе пообедали. Потом Кумэ показал нам рукопись одноактной пьесы, которую тем утром прислал ему Кикүти из Киото. Она называлась «Любовь Сакаты Тодзиро», и главным героем был известный актёр эпохи Токугава. Я начал читать: сюжетная линия оказалась интересной, однако из-за многословных диалогов напоминала пёстрый набивной узор на ткани, от которого рябит в глазах. У меня создалось впечатление, словно меня вынуждали подбедать остатки со стола Нагаи Кафу или Танидзаки Дзюньитиро. Я заключил, что пьеса никуда не годится. Нарусэ пролистал её и пришёл к такому же выводу. Кумэ выслушал нас и согласно кивнул: «У меня она тоже восхищения не вызвала. Написано как-то по-ученически». Тогда он решил от всех нас написать Кикүти письмо и изложить в нём замечания к пьесе. Тут в гости к Кумэ пришёл Мацуока. В отличие от нас, дружно поступивших на факультет английской литературы, Мацуока выбрал философский. Тем не менее он, как и мы, хотел заниматься писательством. Мацуока был особенно дружен с Кумэ. Когда-то они даже снимали вместе комнату позади военного арсенала, в доме со швейной мастерской, где шили рабочую одежду. Кумэ, будучи в реальной жизни романтиком, частенько предавался фантазиям о том, как наденет синий рабочий комбинезон, поставит европейский стол в своём кабинете, похожем на мастерскую художника, и назовёт его студией Кумэ Масао. Всякий раз, приходя к ним в гости, я вспоминал эту мечту Кумэ. А вот Мацуокой владели мысли и чувства, совершенно не связанные с рабочими комбинезонами. Ещё не успев избавиться от влияния сентиментализма, он уже начинал увлекаться религиозными течениями. Он ставил целью создание нового Иерусалима, который не будет ни Востоком, ни Западом, запоем читал Кьеркегора и рисовал сомнительные акварели. Я до сих пор помню одну из его картин, смотревшуюся гораздо лучше, если её перевернуть вверх ногами. Потом Кумэ переехал в Мияуру, а Мацуока снял себе комнату в пятом квартале Хонго. Он и сейчас живёт там, трудясь над трехактной пьесой о жизни Будды Шакьямуни.

Мы вчетвером, среди клубов сигаретного дыма потягивая сваренный Кумэ кофе, принялись обсуждать насущные вопросы. В то время на вершину литературного Парнаса должен был вот-вот подняться Мусякодзи Санэацу. Поэтому мы, разумеется, частенько обсуждали его книги и заявления. Мусякодзи словно открыл окно и впустил поток свежего воздуха в литературный мир. Думаю, особенное воодушевление и радость чувствовали тогда наши ровесники, пришедшие в литературу после Мусякодзи, и та молодёжь, которая следовала за нами. Поэтому и наши предшественники – писатели и читатели, – и более поздние поколения совершенно иначе оценивали Мусякодзи. Такую же разницу можно увидеть и в оценке Таямы Катая. (Остаётся открытым вопрос, какая оценка была верной для каждого из писателей. Однако добавлю: говоря о «такой же разнице», я имел в виду, что мнения о Мусякодзи и Таяме были одинаково полярными в разные времена.) Впрочем, даже тогда мы не считали Мусякодзи мессией от литературы. Кроме того, его также по-разному оценивали как писателя и как мыслителя. Писатель Мусякодзи, к сожалению, нередко слишком торопился закончить произведение. Хотя в «Смешанных чувствах» он сам подчёркивал, что форма и содержание неразрывно связаны, в работе полагался не столько на скрупулёзный труд, сколько на вдохновение, поэтому о деликатных отношениях между формой и содержанием забывал. В итоге в произведениях Мусякодзи, начиная с «Его младшей сестры», форма, которой он пренебрегал, стала против него бунтовать. Его пьесы постепенно утрачивали свой великолепный драматизм (хотя полностью он не исчез; например, в «Мечте юноши», которую некоторые критики отказываются признавать пьесой, немало отрывков, исполненных мощного драматизма), и вместо того, чтобы рассказывать историю своего героя, автор стал использовать их для выражения собственных идей.

Но идеи, изложенные посредством необязательной драматической составляющей, получались таким образом значительно слабее, чем те же идеи, нашедшие отражение в «Смешанных чувствах». Тот, кто был знаком с творчеством Мусякодзи ещё со времён «Одной семьи», испытывал большое разочарование из-за этой его новой манеры. Впрочем, мы не могли не признавать также, что в «Смешанных чувствах» крылась огромная сила, которая мощными порывами ветра раздувала в нас огонь идеализма, заставляя его порой вспыхивать с ослепительной яркостью. Некоторые критики ругали Мусякодзи за отсутствие в «Смешанных чувствах» логики. Однако в нас слишком много человеческого, чтобы считать истиной только то, что подтверждается логикой. Нет, одна из великих истин, веру в которую привил нам именно Мусякодзи, состояла в серьёзном отношении к человеческой природе. Когда гуманизм, втоптаный в грязь натурализма и утративший своё лицо, вновь объявился в литературном мире, где, словно в истории о явлении Христа ученикам по дороге в Эммаус, «день уже склонился к вечеру», мы вместе с Мусякодзи чувствовали, как «горело в нас сердце наше»<sup>16</sup>. Даже сейчас я нередко слышу от других писателей, в том числе расходящихся с Мусякодзи во взглядах, что они, перечитывая «Смешанные чувства», вновь испытывают воодушевление с примесью ностальгии. Мусякодзи на собственном примере продемонстрировал нам – по крайней мере, мне, – что, если желаешь увидеть гуманность, которую «посадили на ослёнка», нужно «постилать одежды свои по дороге», рубить ветви деревьев и устилать ими путь.

Обсудив у Кумэ всякую всячину, мы вместе вышли на улицу. На углу третьего квартала Хонго, расставшись с Нарусэ и Мацуоккой, мы с Кумэ сели в трамвай до Гиндзы. Мы поужинали немного раньше обычного в кафе «Лайон» и отправились в театр кабуки, купив билеты на стоячие места. Шло второе за день представление – новая пьеса в жанре кёгэн. Мы не знали сюжета и даже не слышали прежде её названия. На сцене стояли безвкусные декорации, изображавшие чайный домик. Повсюду были приклеены искусственные цветы сливы, похожие на поделки из ракушек. У чайного домика Тюся, игравший самурая, объяснялся с девушкой, роль которой исполнял Утаэмон. Я, хоть и вырос в торговых кварталах Токио, был равнодушен к вещам в стиле эпохи Эдо, в том числе к пьесам: ни одна из них ни разу не заставила меня поверить в происходящее (может быть, это было выученное равнодушие: ведь родители брали меня с собой в театр с двухлетнего возраста), – поэтому в театре игра актёров интересовала меня больше, чем сюжет, а публика, сидевшая в зале, – больше, чем актёры. Сейчас моё внимание привлекли не столько известные исполнители, сколько похожий на лавочника мужчина в кепке с козырьком, который неотрывно глядел на сцену, при этом ни на мгновение не прекращая грызть каштаны. Он запускал руку за пазуху, вынимал горсть, очищал от кожуры и отправлял в рот. Прикончив очередную порцию, он снова лез за пазуху. Во время всех этих действий он ни на секунду не отрывал глаз от сцены. Заинтригованный таким сочетанием зрительных и вкусовых предпочтений, я долгое время пристально наблюдал за его лицом. В конце концов мне захотелось спросить у него, которое из двух дел он считал более серьёзным. Как раз в этот момент Кумэ истошно завопил: «Татибана!» Я вздрогнул и невольно перевёл взгляд на сцену. Вдоль декораций чинно вышагивал игравший молодого самурая Удзаэмон, который едва ли был способен на другие роли, кроме дамского угодника. Однако лавочник будто и не слышал вопля Кумэ: продолжая поедать каштаны, неотрывно смотрел на сцену, словно и её хотел проглотить. Я подумал, что комичность этого лавочника слишком серьёзна, чтобы над ним смеяться. В то же время мне казалось, что всё увиденное непременно надо описать в каком-нибудь рассказе. Даже появление Татибанаи не спасло спектакль, который показался мне вульгарнее, чем картины Икэды Тэруки. Не дожидаясь конца первого действия, я улучил момент, когда сцена поворачивалась для смены декораций, и решительно зашагал к выходу, увлекая за собой упиравшегося Кумэ.

<sup>16</sup> Евангелие от Луки, глава 24.

Когда мы вышли на улицу, залитую лунным светом, я сказал:

– Только дурак может кричать таким голосом в театре!

– Почему это? Прекрасный у меня голос, – гордо ответил Кумэ, не желая признать, что выходка была глупая. Вспоминая сейчас об этом случае, я догадываюсь, что на поведении Кумэ сказалась щедрая порция виски, выпитая в кафе «Лайон».

### 3

«Всё же чисто литературный факультет в университете – явление сомнительное. Есть отделения японской, китайской, английской, французской и немецкой литературы. Но чем же там, собственно, занимаются? Честно говоря, для меня это загадка. Получается, что предмет изучения должна быть литература каждой из стран. А литературу можно назвать одним из видов искусства. Но наука, изучающая литературу, – действительно ли это наука? Точнее сказать, самостоятельная ли это наука? Если видеть в ней науку, если, выражаясь по-научному, имеются все условия для того, чтобы видеть в ней *Wissenschaft*<sup>17</sup>, то тогда она станет равна эстетике. Но не только эстетике. Я полагаю, что, например, история литературы – это не что иное, как сама история. Хотя лекции, которые читаются теперь на литературном факультете, в большинстве своём не имеют ничего общего ни с эстетикой, ни с историей. Эти лекции даже из приличия нельзя назвать наукой. В лучшем случае можно сказать, что это выражение мнения преподавателя. А если сказать, как есть, то это просто чушь. Поэтому я считаю, что литературный факультет нужно ликвидировать. Обзорные лекции общего толка можно объединить с эстетикой. Историю литературы присоединить к лекциям по исторической науке. Остальные же лекции, коль уж они представляют собой чушь, следует вообще убрать из программы. Если «чушь» звучит слишком грубо, можно выразиться затейливей: подобные лекции не делают чести университету, цель которого – изучение научных дисциплин, в этом его самая насущная задача. Иначе слушатели станут принимать чушь из университетских лекций за чистую монету – она ведь подаётся в более привлекательной упаковке, чем та же чушь в газетных или журнальных критических статьях. А поскольку статьи в газетах и журналах рассчитаны на широкую публику, а университетские лекции – лишь на студентов, то и скрыть их истинную суть от общественности проще простого. В любом случае несправедливо ещё больше приукрашивать распространяемую на лекциях чепуху. Я-то ещё готов её стерпеть: ведь поступил в университет только ради того, чтобы пользоваться библиотекой, – а если бы горел желанием серьёзно исследовать литературу? Как бы я мог это сделать? Плохо бы мне пришлось. Конечно, можно написать достойную работу, если, к примеру, как Итикава Санки, изучать английскую литературу с точки зрения филологии. Но тогда драмы Шекспира и поэмы Мильтона превратятся в набор английских слов. Заниматься подобными исследованиями у меня нет ни малейшего желания, а если бы и было, вряд ли я бы преуспел. Можно, конечно, удовлетвориться и чушью, но зачем тогда тратить силы и поступать в университет? Для тех, кто желает изучать литературу с точки зрения истории или эстетики, стократ полезней пойти не на литературный, а на другие факультеты. Выходит, существование чисто литературного факультета оправдано лишь соображениями удобства, но, несмотря на всё удобство, вред перевешивает, поэтому лучше бы такого факультета не существовало вовсе. А раз так, справедливо будет его упразднить. Мне скажут, что он необходим для подготовки школьных учителей? А я ведь не шучу. Для подготовки преподавателей есть специальный педагогический институт. Скажете, следует тогда институт упразднить? Ну, это уже полная нелепость. Логично будет в первую очередь упразднить в университете литературный факультет и как можно скорее объединить его с педагогическим институтом».

---

<sup>17</sup> Наука (нем.).



Всё это пришлось выслушать Нарусэ во время нашей прогулки по району Канда, известному множеством букинистических лавок.

## 4

Однажды вечером в конце ноября мы с Нарусэ пошли на концерт в Императорский театр. В театре нам встретился Кумэ, одетый, как и мы, в студенческую форму. В то время среди нас троих я считался наиболее сведущим в музыке. Можете представить, насколько все мы были от неё далеки, если даже меня считали знатоком. На концерты я ходил без разбора и музыку понимал на свой лад. Ближе всего мне были произведения Листа. Однажды в отеле «Тэйкоку» я слушал «Святого Антония, шествующего по волнам» (кажется, так называлось то произведение; прошу прощения, если ошибся) в исполнении уже очень пожилой в то время госпожи Петцольд. Не умолкая ни на миг, лились звуки рояля, и перед моими глазами встала удивительно яркая картина. Внутри этой картины бесконечно, куда ни глянь, бежали волны. По верхушкам волн двигались человеческие ноги, вызывая каждым шагом мелкую рябь. Наконец над волнами и ногами появился яркий свет, который начал перемещаться по небу, словно гонимое ветром солнце. Затаив дыхание, я смотрел на эту иллюзию, и когда отзвучала музыка и раздались аплодисменты, с грустью ощутил одиночество и пустоту окружающего мира, из которого исчезло очарование музыки. Впрочем, такое со мной случалось, лишь когда я слушал Листа. В отношении Бетховена и других композиторов я мог только заключить, что одни мне нравятся, другие нет, поэтому концерты симфонической музыки слушал не как музыкант, а лишь недоверчиво вслушиваясь в звуки, которые раздавались из леса инструментов.

В тот вечер на концерте присутствовал его высочество принц Канъин-но-мия, поэтому ложи и первые ряды партера были заполнены нарядными мамашами и их дочерьми. Рядом со мной восседала старая дама: кожа да кости, на лице толстый слой пудры, пальцы унизаны золотыми кольцами, на груди – золотая цепочка от часов, на поясе оби – золотая пряжка. Мало того, её рот был полон золотых зубов (я заметил, когда она зевнула). На этот раз, в отличие от похода в театр кабуки, меня больше интересовали Шопен и Шуберт, чем пришедшие на концерт франты и их спутницы, поэтому я перестал смотреть на старуху, утопающую в горах пудры и золота. Думаю, она считала себя очень значимой персоной, и на её лице было написано безразличие к музыке и разочарование. Она то и дело крутила головой, не останавливая взгляд лишь на господине Ямаде Косаку, взмахивавшем на сцене дирижёрской палочкой.

Кажется, перерыв объявили после соло супруги Ямады, и мы втроём поднялись на второй этаж в курительную комнату. У входа стоял приземистый мужчина, у которого из-под чёрного сюртука выглядывал красный жилет. Он и его спутник, одетый в хакама и хаори, курили сигареты с золотыми мундштуками. Кумэ наклонился к нам и шепнул: «Это Танидзаки Дзюнъ-итиро». Мы с Нарусэ, проходя мимо, с любопытством оглядели известного писателя-эстета. Лицо его было весьма необычным: одухотворённые глаза и звериный рот всё время словно состязались, пытаясь захватить безраздельную власть. Мы сели в удобные кресла, открыли одну на всех пачку «Сикисимы» и принялись обсуждать творчество Танидзаки. Будучи родоначальником эстетизма, он тогда возвращал на своём поле мрачные «цветы зла»: «Убийство Оцуя», «Вундеркинд», «Осай и Миноска». Эти «цветы» – великолепные, переливающиеся всеми оттенками радуги, – хотя и испускали тот же величественный аромат разложения, что и произведения По и Бодлера, которых почитал Танидзаки, в одном отношении от них разительно отличались. За болезненным эстетизмом По и Бодлера крылась холодная, безразличная душа. Эта окостеневшая душа, хотели они того или нет, вынуждала их предавать мораль, отрицать Бога, даже отказываться от любви. Однако, погружаясь в болото декаданса, их сердца все же не соглашались принимать такой конец. И это нежелание, должно быть, вступало в конфликт с ощущением, выраженным в строфе «Une Vieille gabade sans mots sur une mer

monstrueuse et sans bord»<sup>18</sup>. Поэтому их эстетизм напоминал рой мотыльков, которые пытались взлететь со дна их истерзанных душ. Поэтому в произведениях По и Бодлера к скорби («Ah! Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon coeur et mon corps sans degout»<sup>19</sup>) всегда примешивались ядовитые испарения затхлого болота. Мы были глубоко поражены их эстетизмом именно благодаря тому, что увидели – например, в «Дон Жуане в аду» – страдания этой закостенелой души. Эстетизм Танидзаки, вместо удушающей неподвижности, был слишком полон гедонизма. Словно в поисках Эльдорадо, Танидзаки с воодушевлением вёл свой корабль по морю, где то и дело вспыхивали светлячки преступлений и зла. Этим Танидзаки напоминал нам Готье, к которому сам он относился пренебрежительно. Болезненные тенденции у Готье несли такой же отпечаток конца столетия, что и у Бодлера, но при этом были как будто исполнены жизненной энергии. Выражаясь более образно, их можно назвать страданиями пресыщенного султана, тяготимого висящими на нём драгоценностями, поэтому произведения Готье и Танидзаки, в отличие от По и Бодлера, не хватало звенящей напряжённости. Зато в описаниях чувственной красоты у них проявлялось удивительное красноречие, которое, словно река, бесконечно несло вдаль свои волны. (Думаю, Хироцу Кадзуо, критикуя недавно Танидзаки за избыток здоровья, имел в виду те самые болезненные тенденции в сочетании с избытком жизненной энергии; однако, сколько бы жизни ни было в произведениях Танидзаки, болезненные мотивы у него всё же присутствуют, как тенденция к набору веса у страдающего ожирением больного.) Даже мы, ненавидевшие такой эстетизм, не могли не признавать силу таланта у Танидзаки именно благодаря его потрясающему красноречию. Танидзаки умел находить и отшлифовывать до блеска японские и китайские слова, превращать их в чувственную красоту (или уродство) и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения, начиная с «Татуировки». Его рассказы, словно «Эмали и Камеи» Готье, от начала до конца пронизаны звонким ритмом. И даже теперь, читая произведения Танидзаки, я частенько не вдумываюсь в смысл каждого отрывка, а ощущаю наполовину физиологическое наслаждение от плавного ритма его фраз. В этом мастерстве Танидзаки никто не смог превзойти. Пусть он не зажжёт «звезду страха» на темнеющем литературном небосклоне, однако среди возвращённых им ярких цветов в Японии неожиданно начался шабаш ведьм...

Прозвенел звонок. Мы прервали беседу о Танидзаки, спустились в зал и заняли свои места. По дороге Кумэ спросил меня:

– А ты и правда понимаешь музыку?

Я ответил:

– Уж побольше, чем живой скелет в золоте и пудре, который сидит возле меня.

Я снова уселся рядом со старухой. Пианист Шольц играл, кажется, ноктюрн Шопена. Симонс писал, что, однажды в детстве прослушав Похоронный марш Шопена, всё про него понял. Я же, наблюдая за ловкими пальцами Шольца, думал, что до Симонса мне далеко, даже учитывая разницу в возрасте. Не помню, что именно исполнялось потом. Когда концерт кончился и мы вышли на улицу, оказалось, что стоянку перед театром, перекрывая нам путь, заполнили экипажи и автомобили. Вдруг мы увидели, как к одному из авто идёт, кутаясь в меха, та самая старуха в пудре и золоте. Мы подняли воротники пальто и, пробираясь между машинами, вышли на тротуар, под пронизывающий ветер. Перед нами чёрной громадой внезапно выросло уродливое здание полиции. Я почувствовал смутное беспокойство из-за того, что там находилось полицейское управление.

– Странно, – вырвалось у меня.

– Что странно? – переспросил Нарусэ.

<sup>18</sup> И носился мой дух, обветшалое судно, среди неба и волн, без руля, без ветрил (*фр.*) – Ш. Бодлер. Пер. И. Лихачева.

<sup>19</sup> О боже! Дай мне сил глядеть без омерзенья на сердца моего и плоти наготу (*фр.*) – Ш. Бодлер. Пер. В. Левика.

Я сказал ему первое, что пришло в голову, не желая обсуждать своё настроение. А мимо нас одна за другой проносились автомобили и кареты.

## 5

На следующий день после лекции профессора Оцуки (рассказ о философии Риккерта был самым поучительным из всего, что мне доводилось слушать на занятиях) мы с Нарусэ, подгоняемые пронизывающим ветром, пошли в закусочную «Иппакуся», чтобы съесть традиционный обед за двадцать сэнов.

– Ты видел женщину, которая сидела позади нас на концерте? – вдруг спросил меня Нарусэ.

– Нет. Я видел только живой скелет в пудре и золоте.

– Скелет в золоте... О чём это ты?

– Неважно. В любом случае сидела она не сзади. А ты что, влюбился?

– Какое там! Даже имени её не знаю...

– Что-то ты темнишь. Если ты её не знаешь, зачем тогда спрашиваешь?

– Дело вот в чём. Когда я пришёл домой, мама спросила, видел ли я женщину, которая сидела позади меня. Оказывается, её прочат мне в жёны.

– Значит, тебе подстроили смотрины?

– Только они так и не состоялись.

– Раз ты ею заинтересовался, смотрины состоялись. Верно? Твоя мамаша тоже хороша. Если хотела познакомить тебя с девушкой, надо было её усадить впереди нас. Будь у нас глаза на затылке, мы бы не перебивались обедами за двадцать сэнов.

Нарусэ, воспитанный в почтении к родителям, ответил мне удивлённым взглядом, а потом сказал:

– А если смотрины устраивались для неё, то нас, выходит, рассадили правильно.

– Ну, если устраивать смотрины в таком месте, кому-то придётся выйти на сцену... Так что ты ответил?

– Сказал, что не видел. Я ведь и правда её не видел.

– И теперь ты собрался пожаловаться мне... Жаль, конечно, но зачем же было устраивать смотрины на концерте? Другое дело в театре. Во время спектакля я и так глазею на всех подряд.

Тут мы с Нарусэ не выдержали и рассмеялись.

В этот день после обеда были занятия немецким языком. Мы посещали их по так называемой «ямбической системе»: когда на лекцию шёл Нарусэ, я отдыхал, а потом мы менялись ролями. Мы по очереди пользовались одним учебником, подписывали в нём транскрипцию немецких слов и по нему же потом готовились к экзаменам. В тот раз подошла очередь Нарусэ, и я, вручив ему после обеда учебник, вышел из закусочной на улицу.

Ледяной ветер вздымал в небо тучи пыли, подхватывал жёлтые листья гинкго и загонял их даже в букинистическую лавку напротив университета. Вдруг мне захотелось навестить Мацуоку. В отличие от меня (да и, видимо, большинства людей) Мацуока считал, что в ветреные дни на него снисходит умиротворение. Вот я и подумал, что в такую погоду он непременно должен быть в хорошем расположении духа, и, придерживая шапку, постоянно слетающую с головы, отправился в пятый квартал Хонго. У двери меня встретила старушка, которая сдавала Мацуоке комнату.

– Господин Мацуока ещё отдыхает, – сказала она, изобразив на лице сожаление.

– Неужели спит? Ну и соня!

– Нет, он изволил трудиться всю ночь и отошёл ко сну совсем недавно. Сказал, что ложится спать, и теперь, верно, изволит отдыхать.

– Вдруг он ещё не уснул. Пойду-ка проверю. Если спит, сразу спущусь обратно.

На цыпочках я поднялся на второй этаж, где находилась комната Мацуоки. Отодвинув перегородку-фусума, я вошёл в полутёмную из-за закрытых ставен комнату, в центре которой была постель. У изголовья стоял шаткий лакированный столик, на котором высились стопки рукописей. Под столом на старой газете лежала большая горка шелухи от земляных орехов. Я сразу вспомнил, что Мацуока работает над трёхактной пьесой. «Пишет», – подумал я. Обычно в таких случаях я садился за стол и просил Мацуоку прочитать свежую рукопись. К сожалению, тот, кто должен был откликнуться на мою просьбу, сейчас спал как убитый, прильнув к подушке давно не бритой щекой. Разумеется, будить его я не собирался, однако и уходить ни с чем мне тоже не хотелось. Я присел возле столика и стал читать отдельные страницы рукописи. Вдруг весь второй этаж сотрясся от сильного порыва ветра. Мацуока продолжал спать, тихо посапывая. Я понял, что делать мне здесь больше нечего, нехотя поднялся и направился к выходу, а проходя мимо, случайно взглянул на Мацуоку и заметил у него на ресницах слёзы. Следы слёз виднелись и на щеках. Он плакал во сне. Охватившее меня вначале воодушевление – мол, человек пишет, работает – тут же улетучилось. Вместо него появилось чувство нестерпимой безысходности, словно я тоже всю ночь напролёт мучился над рукописью. «Вот ведь глупость! Трудиться так тяжело, что даже плачешь во сне! А если надорвёшься? Что тогда будешь делать?» – так хотел я обругать Мацуоку, но втайне желал и другого – похвалить: «Надо же, как самоотверженно он страдает!» Тут у меня самого выступили на глазах слёзы.

Я потихоньку спустился по лестнице. Старушка обеспокоенно спросила:

– Он изволит отдыхать?

– Спит без задних ног, – бросил я и, чтобы старуха не видела моих слёз, быстро вышел на улицу.

Там ветер по-прежнему поднимал клубы пыли. В небе что-то завывало. Я взглянул вверх. Высоко надо мной плыл маленький белый диск солнца. А я остановился посреди тротуара и стал размышлять, куда бы теперь отправиться.

## Просвещённый супруг

Однажды в Музее Уэно открылась выставка, посвящённая культуре раннего Мэйдзи. Я пришёл на выставку, когда пасмурный день уже клонился к вечеру, и стал обходить залы, внимательно рассматривая экспонаты. В последнем зале я увидел человека, разглядывавшего несколько старинных эстампов. Это был пожилой господин, стройный, франтоватый, в безукоризненном чёрном костюме и дорогом котелке. Я сразу узнал в нём виконта Хонду, с которым меня познакомили на одном мероприятии несколько дней назад. Уже наслышанный о нелюдимости виконта, я отошёл в сторону, раздумывая, привлечь его внимание или нет. Тем временем виконт, видимо, услышал звук шагов и медленно повернулся ко мне. По его губам, наполовину прикрытым седеющими усами, скользнула тень улыбки. Он слегка приподнял котелок и мягко меня поприветствовал. Я сразу почувствовал облегчение, вежливо поклонился в ответ и не спеша приблизился.

Виконт Хонда принадлежал к той породе людей, у которых красота проявляется с возрастом, словно отблеск вечерней зари, однако душевные муки оставили на нём необычный для представителя аристократии отпечаток задумчивости. Помню, что при знакомстве, как и сегодня, я обратил внимание на булавку с большой жемчужиной, которая поблёскивала на фоне его чёрного костюма. Глядя на неё, я почему-то чувствовал, будто заглядываю в сердце виконта...

– Как вам эти эстампы? Похоже, здесь изображён сеттльмент Цукидзи. Гравюра искусная, верно? Интересно сочетаются свет и тени.

Виконт говорил тихо, указывая серебряным набалдашником тонкой трости на один из эстампов, висевших за стеклом. Я согласно кивнул.

– Токийский залив со слюдяными волнами, пароходы с флагами разных стран, мужчины и женщины, гуляющие по улицам, одинокая сосна в стиле Хиросигэ у дома в западном стиле – смешение японского и европейского и в выборе темы, и в технике, смешение, которое и создавало чудесную гармонию, присущую искусству раннего Мэйдзи. С тех пор наше искусство навсегда утратило эту гармонию. Она исчезла и в нашем родном Токио.

Я снова кивнул в знак согласия и добавил, что гравюра с Цукидзи интересна не только сама по себе. Она также напоминает о безвозвратно утерянной эпохе Просвещения с её двухместными колясками рикш, украшенными львами, с дагеротипами, с которых улыбаются нам нарядные гейши... Виконт выслушал меня с улыбкой и не спеша перешёл к витрине напротив, где висели гравюры укиё-э, созданные Тайсо Ёситоси.

– Взгляните на этого Ёситоси, – сказал он. – Кикугоро в европейской одежде и Хансиро в парике стиля итёгаэси разыгрывают трагедию под театральной луной. Перед глазами так и встаёт далёкая эпоха – уже не Эдо, но ещё не Токио, будто час между днём и ночью.

Я слышал, что Хонда стал нелюдимым совсем недавно, а раньше, когда он возвратился из путешествия в Европу, слыл человеком светским и пользовался известностью не только в официальных кругах, но и среди широкой публики. Здесь, в безлюдном выставочном зале, среди старинных гравюр Хонда словно провозглашал некую неоспоримую истину. Но именно это вызвало во мне внутренний протест, и я решил сменить тему и поговорить о развитии жанра укиё-э, однако виконт, указывая на гравюры Ёситоси, продолжал тихо и вкрадчиво:

– Только представьте: когда люди вроде меня смотрят на эти гравюры, то вспоминают события тридцати-, сорокалетней давности, словно они произошли вчера, и стоит открыть газету, как увидишь заметку о бале-маскараде в клубе «Рокумэйкан». Честно говоря, придя на эту выставку, я никак не могу отделаться от чувства, будто люди тех времён ожили и бродят невидимками по залу. Словно призраки порой останавливаются у меня за плечом и начинают нашёптывать на ухо истории из прошлого. Взгляните на портрет Кикугоро в европейском

костюме. Он удивительно похож на одного моего приятеля. Когда я стоял перед ним, то так отчётливо ощутил его присутствие, что мне захотелось с ним поздороваться и посетовать на то, что давно не виделись. Если хотите, я могу вам о нём рассказать.

В голосе Хонды слышалась тревога, и он отводил глаза в сторону, словно не был уверен, что я соглашусь. Я вспомнил, что несколько дней назад, когда я с ним познакомился, мой друг, представляя меня, сказал виконту: «Он писатель, так что, если вспомните интересный случай, обязательно ему расскажите». Признаться, меня настолько увлекли воспоминания виконта о давно минувших днях, что я готов был хоть сейчас нанять карету и отправиться вместе с Хондой на окутанные туманом прошлого оживлённые улицы с богатыми кирпичными домами, поэтому с радостью согласился выслушать его рассказ.

– Пойдёмте туда, – предложил Хонда.

Мы прошли к стоявшей в центре зала скамье. Рядом никого не было. Вокруг висели стены, за стеклом которых висели освещённые холодным светом пасмурного дня старые эстампы и гравюры. Опустив подбородок на серебряный набалдашник трости, виконт Хонда обвёл взглядом зал, словно сверяясь с воспоминаниями, а затем повернулся ко мне и тихо начал рассказ:

– Моего друга звали Миура Наоки. Познакомились мы случайно на пароходе, возвращаясь в Японию из Франции. В ту пору ему только исполнилось двадцать пять лет. Столько же, сколько и мне. Он был точь-в-точь как тот портрет Кикугоро: узкое белое лицо и длинные, расчёсанные на прямой пробор волосы. Будто живое олицетворение тогдашней эры просвещения – начала эпохи Мэйдзи. За время долгого путешествия у нас возникла взаимная симпатия, которая переросла в близкую дружбу, и в Японии мы стали встречаться почти каждую неделю. По словам Миуры, его родители – крупные помещики из Ситая – скончались, пока он был во Франции. Единственный ребёнок в семье, Миура унаследовал солидное состояние. Когда мы познакомились, он жил в полном достатке: большую часть времени развлекался, а на службу в один из банков ходил только для проформы. Вернувшись на родину, он обставил в западном стиле кабинет в особняке родителей близ Рёгоку и зажил жизнью состоятельного человека.

Я вижу сейчас кабинет Миуры так же ясно, как рисунок на том эстампе: выходящие на реку Сумида французские окна, белый потолок с золотым бордюром, кресла и диван красной марокканской кожи, на стене портрет Наполеона, резной книжный шкаф чёрного дерева, мраморный камин с зеркалом, на каминной полке карликовая сосна, в которой души не чаял покойный отец Миуры. Так в те времена обставляли кабинеты. Всё в них противоречило друг другу, вызвало ощущение странной смеси старого и нового, одновременно мрачного и кричащего и напоминало, если позволите ещё одно сравнение, звук расстроенного рояля. Миура, облачённый в дорогое шёлковое кимоно, усаживался под портретом Наполеона и читал что-нибудь вроде стихов Гюго. Кабинет его мог бы послужить натурой для одного из выставленных здесь эстампов. Я всегда со смешанными чувствами смотрел, как мимо проплывали по реке лодки, то и дело заслоняя свет большими белыми парусами.

Хотя Миура жил в роскоши, его, в отличие от многих ровесников, нельзя было застать в увеселительных заведениях Синбаси или Янагибаси. Каждый день он уединялся в своём заново обставленном кабинете и с головой уходил в чтение. Другими словами, он вёл жизнь не банкира, а удалившегося от дел отшельника. Повлияло, конечно, и хрупкое телосложение, не позволявшее Миуре предаваться излишества, которые могли повредить здоровью. Однако была и другая причина. Миура по характеру, вопреки веяниям модного тогда материализма, был идеалистом чистой воды и поэтому предпочитал одиночество. Он представлял собой образец джентльмена той эпохи, когда в Японию стала проникать западная цивилизация, хотя идеализмом своим скорее напоминал политиков-мечтателей ещё более ранних эпох.

Доказательство тому – наша беседа во время спектакля о мятеже Симпурэн<sup>20</sup>. После сцены, где Оно Тэппэй кончает жизнь самоубийством, Миура повернулся ко мне и с серьёзным лицом спросил:

– Ты им сочувствуешь?

Тогда я только что вернулся из поездки по Европе и решительно отвергал всё, что пахло стариной, поэтому очень холодно ответил:

– Нет, нисколько не сочувствую. Те, кто поднимает бунт из-за запрета носить мечи, заслуживают подобной смерти.

Миура покачал головой.

– Возможно, идеалы их были ошибочны. Однако стремление пожертвовать собой ради своих принципов заслуживает даже большего, чем сочувствие.

– Значит, и ты, как эти бунтовщики, готов расстаться со своей прекрасной жизнью ради детской мечты вернуться в эпоху Мэйдзи или даже в древнюю эру богов? – спросил я со смехом.

На что он по-прежнему серьёзно, решительно ответил:

– Я всегда хотел отдать жизнь за идеалы. Пусть даже за детские мечты.

Тогда я посчитал это лишь красивыми словами и не придавал им особого значения. Теперь же я понимаю, что на них лежала тень его будущей печальной судьбы. Вы убедитесь в этом, выслушав историю до конца.

Миура не изменял своим принципам, в том числе в вопросе женитьбы. Он отказывался от многочисленных блестящих партий, повторяя: «Я женюсь только по любви».

Однако его понимание любви отличалось от обычного, и если даже девушка очень ему нравилась, до женитьбы дело не доходило.

«В моих чувствах ещё много несовершенного», – говорил он.

Наблюдать за этим было уже невыносимо, и я иногда вмешивался, предлагая свою помощь.

– Если так препарировать свои чувства, жизнь превратится в кошмар. Надо смириться с тем, что мир может не соответствовать твоим идеалам, и удовольствоваться относительно приемлемой кандидатурой.

Миура оставался при своём мнении и, с жалостью глядя на меня, произносил:

– Если бы я мог этим удовольствоваться, женился бы давным-давно.

Будучи ему другом, я молча выслушивал его рассуждения, а вот родственники, помня о его слабом здоровье и опасаясь, как бы не прекратился их род, намекали, что ему стоит обзавестись хотя бы наложницей. Однако не таков был Миура, чтобы внимать подобным советам. Само слово «наложница» вызывало у него отвращение. Горько улыбаясь, он говорил мне:

– Мы ведь считаем свою страну просвещённой, а наложницы по-прежнему существуют.

Поэтому, возвратившись в Японию, Миура в течение двух или трёх лет посвящал себя чтению, сидя в кабинете наедине с портретом Наполеона, и его друзья окончательно потеряли надежду на то, что он когда-нибудь найдёт любовь.

Однажды дела привели меня в Корею, в город Кэйдзё. Не прошло и месяца, как я вдруг получил от Миуры письмо, в котором он извещал меня о помолвке. Представьте моё удивление! Я не мог не радоваться: наконец-то и он нашёл себе спутницу жизни. Письмо было весьма лаконичным. Он сообщал, что помолвлен с некой Фудзии Кацуми, дочерью правительственного поставщика. Из следующих писем я узнал некоторые подробности. Миура однажды забрёл в храм Хагидэра на острове Янагисима и случайно встретил там владельца антикварной лавки, который нередко бывал в его особняке. Тот пришёл в храм помолиться вместе с

---

<sup>20</sup> *Мятеж Симпурэн* – провалившееся восстание под девизом «возврата к старине», причиной которому послужило недовольство японцев вестернизацией Японии в эпоху Мэйдзи.

господином Фудзии и его дочерью. И вот во время прогулки по аллеям вокруг храма Миура и Кацуми полюбили друг друга. Храм Хагидэра с его соломенной крышей и воротами со статуями бога Нио, со спрятанным в кустах хаги памятным камнем, на котором начертано известное хайку Басё, отличался утончённой красотой и, несомненно, идеально подходил для знакомства незаурядного юноши с прекрасной девушкой. Однако для джентльмена эпохи Просвещения, который без парижского костюма из дому не выйдет, любовь с первого взгляда развивалась по слишком предсказуемому сценарию, и если первое его письмо вызвало у меня улыбку, то теперь я просто не мог удержаться от смеха. Мне не составило труда догадаться, какую роль играл в сватовстве владелец антикварной лавки. Впрочем, всё устроилось как нельзя лучше. Без малейшего промедления к отцу невесты были посланы сваты, и той же осенью сыграли свадьбу. Отношения между новобрачными можно было назвать безупречными. Только одно обстоятельство вызывало у меня удивление и в то же время зависть: даже по письмам, в которых Миура рассказывал о своей супружеской жизни, можно было понять, что этот сдержанный и отстранённый человек совершенно преобразился, внезапно став весёлым и общительным.

У меня ещё хранятся все его письма, и, перечитывая их теперь, я неизменно вижу перед собой его смеющееся лицо. С детской радостью рассказывал Миура о подробностях своего быта: о том, что в этом году никак не всходит выюнок; что он пожертвовал деньги детскому дому в Уэно; что из-за большой влажности в сезон дождей книги покрылись плесенью; что нанятый им рикша заразился столбняком; что он смотрел представление какого-то европейского фокусника в театре «Миякодза»; что в Курамаэ был пожар. В общем, он делился со мной любыми новостями. Но с особенной гордостью Миура сообщил мне, что заказал художнику Годзэте Хобаю портрет жены. Этот портрет сменил на стене Наполеона – там я его потом и увидел. Госпожа Кацуми была изображена в профиль, стоящей перед трюмо. Волосы причёсаны на западный манер, чёрное платье вышито золотом, в руках букет роз. И хотя портрет мне увидеть довелось, самого Миуру, такого весёлого тогда, я уже не застал.

Виконт Хонда вздохнул и ненадолго умолк. Я слушал его рассказ как заворожённый, и когда он остановился, взглянул на собеседника с беспокойством. Мне показалось, что Миуры уже не было в живых, когда виконт возвратился из Кэйдзё. Виконт, видимо, разгадал мой взгляд и, покачав головой, спокойно продолжил:

– Нет, Миура не умер. Но когда я через год вернулся в Японию, он снова был сдержан, холоден и словно чем-то опечален. Я это почувствовал, когда мы после долгого перерыва пожали друг другу руки на станции Синбаси, куда Миура пришёл меня встретить. Вернее, его равнодушие меня сразу встревожило. Взглянув на него, я воскликнул:

– Что с тобой? Ты заболел?

Он с недоумением посмотрел на меня и ответил, что и он, и его супруга в полном здравии. «Да, – подумал я, – так и должно быть. Характер его не переменялся. Не мог же он за год «брака по любви» стать другим человеком». Я решил не говорить больше на эту тему и лишь со смехом заметил:

– Извини, это всё здешнее освещение. Мне показалось, что у тебя нездоровый цвет лица.

Чтобы понять, какие страдания он прятал за маской равнодушия, и почувствовать, как неуместен был мой смех, потребовалось ещё несколько месяцев. Однако сначала я должен сказать о том, что представляла собой его жена.

Впервые я встретился с ней вскоре после возвращения из Кэйдзё, в особняке на Окавабате, куда Миура пригласил меня на обед. Она была ровесницей мужа, но благодаря маленькому росту казалась на два-три года моложе. На круглом лице с чистой кожей выделялись густые брови. В тот вечер на ней было кимоно с классическим узором из мотыльков и птиц, перевязанное атласным поясом. Говоря модными тогда словами, выглядела она шикарно. В своём воображении я рисовал её образ совершенно по-другому. Я и сам не понимал, что было не так. Мне не раз случалось ошибаться в прогнозах: начиная с того момента, как я познако-



мился с Миурой, – однако тогда эта мысль мелькнула у меня и исчезла. В итоге я решил, что нет никаких оснований не радоваться женитьбе друга, наоборот: пока мы сидели за столом под керосиновой лампой, я был просто покорён живым умом госпожи Миуры – она понимала всё буквально с полуслова. В конце концов я не выдержал и серьёзно заявил:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.